

Гандшевская Шестая

Воспоминания



Н. Францевская-Шолстая

Воспоминания

Л Е Н И З Д А Т • 1 9 7 7

ОТ АВТОРА

Написанное мною ни в коей мере не претендует быть хроникой жизни. Слишком мало для этого последовательности и повествовательной связи между отдельными главами моих записок. Много пролетело во времени, не оставив следа. Многое пропущено случайно, ибо нет еще в руке спокойствия, столь необходимого летописцу.

Не случайно мало касаюсь я в своих записках основных творческих этапов долголетнего спутника моей жизни писателя А. Н. Толстого. Об этом немало уже писали и будут еще писать люди более компетентные, чем я,— историки, биографы, литературоведы. Мне же, очевидцу трудов и дней былых, приходится быть на поводу только у своей памяти.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

К какому жанру литературы можно было бы отнести эту книгу? К литературным мемуарам? Несомненно. На этих страницах в кратких, но метко очерченных обликах проходят А. М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн, Сергей Есенин, ряд общественных деятелей предреволюционного и послереволюционного времени, не говоря уже о том, что главной фигурой воспоминаний является А. Н. Толстой. Ему и его окружению, возникновению его творческих замыслов, существенным этапам его биографии и посвящены эти страницы, написанные пером умной и приметливой наблюдательницы многих лет творческого пути писателя.

Н. В. Крапдиевская-Толстая была долголетним спутником жизни и творческим помощником А. Н. Толстого, именно она послужила прототипом для создания основного женского образа в «Хождении по мукам» — знаменитом романе о судьбах русской интеллигенции в нашей революции. Правдивые свидетельские показания такого непосредственного наблюдателя поистине бесценны. Благодаря им раскрывается зарождение многих произведений писателя и сравнительно раннего, и более позднего периодов.

Но Н. В. Крапдиевская-Толстая и сама по себе человек, наделенный ярко выраженным поэтическим дарованием. Даже если бы не было в ее рукописи прославленных в литературе и искусстве имен, собственное ее повествование о детских и юношеских годах, о культурном семейном окружении, о духовной атмосфере московской прогрессивной интеллигенции накануне великих революционных событий свидетельствовало бы о своеобразии и талантливости автора. Воспоминания развиваются в свободной, непосредственной манере, очень лирично, с большим вкусом, с тонким чувством самоиронии и мягкого юмора.

Возвращаясь к главной теме этой книги, к писательскому и жизненному образу А. Н. Толстого, следует отметить, что автор строит свою мемуарную повесть, как сплут отдельных сюжетных новелл, связанных и тематическим, и стилистическим единством. И в итоге возникает многосторонний и жизненно яркий портрет писателя и человека.

Мемуары Н. В. Крандиевской-Толстой писались в последние годы ее жизни, по следам памяти, на основе личных дневников и сохранившихся писем, писались с большой откровенностью в передаче бытовых, а порою и интимных переживаний в истории ее совместной жизни с А. Н. Толстым. И поэтому в рукописи, прежде чем она стала книгой для широкого читателя, потребовались некоторые сокращения.

Мне думается, что включение в книгу ряда стихотворений Н. В. Крандиевской-Толстой возмещает эти пробелы и придает ей полную биографическую цельность, тем более что это уже узаконено самим автором мемуаров. Кроме того, это еще раз напоминает нам о том, что Н. В. Крандиевская-Толстая была талантливым поэтом, автором сборников: «Стихотворения» (М., издательство К. Ф. Некрасова, 1913); «Стихи». Книга вторая (Одесса, издательство «Омфалос», 1919); «От лукавого» (Москва — Берлин, «Геликон», 1922), а также книги избранного «Вечерний свет» («Советский писатель», 1972).

Книга «Вечерний свет» открывается стихотворением, где есть строки:

...Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи.
Они — как жалоба, как зов,
Они — как родинка на коже.

Но кто-то губы освежит
Моей неутоленной жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой.

Все это в равной степени относится и к поэзии Н. В. Крандиевской-Толстой, и к ее лирической мемуарной прозе.

Вс. Рождественский

Часть первая

Детство

Вечерняя отрада — вспоминать,
Кому она, скажите, незнакома?
На склоне лет присесть у водоема,
Смущая вод задумчивую гладь,
Не жизнь, а призрак жизни невесомый,
Не дом, а только тень былого дома
Из памяти послушной вызывать...

ДЕТСТВО

Я не помню, как называлась эта низкорослая травка, цветущая тугими зелеными бубличками. Московские дворы густо зарастали ею когда-то. Трава моего детства. Вероятно, ее было много, или же уровень, с которого впервые наблюдался мир (примерно с высоты роста пятилетнего человека), немногим превышал ее

зеленый ковер. Поэтому самые ранние воспоминания таковы: кто-то взрослый ведет меня за руку вдоль церковной ограды по пригорку, заросшему этой травой. Зеленые бублички съедобны. Я пытаюсь сорвать их, но рука взрослого тянет в сторону, и я бегу боком, все время оглядываясь назад. Я понимаю, что трава эта запретна и недоступна для меня, но тем соблазнительнее ее райская зелень, забыть которую невозможно.

* *
*

Затем откуда-то из туманной дали выплывает арка, увитая плющом, солнечные пятна на крашеном полу. У стены длинный ящик красного дерева. На нем играет мать и поет высоким, молодым голосом:

Ты не поверишь,
Ты не поверишь,
Ты не поверишь —
Как ты мила!

Большой портрет Гаршина в венке из еловых веток висит на стене. В память этого человека мой старший брат назван Всеволодом. Тут же, на полу, разложено под листьями фикуса мое кукольное хозяйство.

Вероятно, это квартира в Грузиках, в доме генеральши Макаевой, где жила наша семья в девяностых годах прошлого столетия.

Мой отец земец. Он служит в земской управе под началом у Шипова. На рождество нас возят на елку к Шиповым, в особняк на Собачьей площадке. Там собираются дети старой Москвы: Самарины, Леонтье-

вы, Майковы. Помню на одной из елок двух «Львовичей» Толстых, хмурых гимназистов в белых перчатках. Вокруг елки они ходили степенно, словно обремененные отцовской славой. Вероятно, это были Андрей и Михаил.

Помню разъезды после елок. Усталых, вспотевших от беготни, нас погружали в сани вместе с подарками. Извозчик кружил, не спеша, по переулкам в сугробах. В каждом доме за окном догорала елка. Запрокинув голову, стянутую башлыком, покачиваюсь на руках у мамы, гляжу вверх, где в морозном небе, как живые, дышат январские звезды. Золотой картонный олень с елки зажат у меня в варежке. Я никогда не расстанусь с ним. Убаюканная ездой, засыпаю, пока мамин голос не будит у ворот дома: «Вот и приехали. Ты спишь, дурачок?»

* *
*

В доме у нас многолюдно. Гости с длинными бородами: Златовратский, Нефедов, Фортунатов, Митропольский. Детскому уху привычны слова: марксист, народник, профессура. Из столовой, где шумно пьют чай и спорят взрослые, слова эти чаще других доносятся в детскую комнату и незаметно включаются в наш лексикон.

— Давай играть в гостей,— предлагаю я сестре Дюнке.

Мы обе лезем под фикусы, и игра начинается с традиционного «дзинь» и «трык» — звонок и появление гостя. Дюнка входит, прижав к животу любимую куклу Тамару, без парика и без руки. Губы у Дюнки степенно поджаты, потому что она изображает взрослую даму.

— Ах, Фелицата Ивановна! Как я рада. Заходите, садитесь,— говорю я нарочным голосом, усаживая гостью за камышовый столик.

На кукольных тарелочках накрошен сахар. Лежат желуди. А главное, из крохотного чайника льется настоящий горячий чай.

— Как поживаете? Кушайте желуди.

Дюнка тужится поддержать беседу, но ей не успеть за мной. Я тараторю, как заведенная:

— Вы знаете, я просто в отчаянии. У наших детей воспаление кишки. Это ужасно, уж-жасно. Мы едем на дачу, знаете? Кушайте желуди.

Дюнка снова силится вставить слово, но я мчусь дальше:

— Вы знаете, наш муж — народник. Он ушел в гости. А кто вырвал волосы вашей дочери?

— Профессура,— мрачно выпаливает Дюнка.

— Ах, это ужасно. А руку?

— Руку... марксисты вырвали. На бульваре. И еще у наших детей лихорадка,— продолжает хвастаться Дюнка.

— Ах, что вы? У них какая лихорадка, трясучая или не трясучая?

Дюнка долго думает, какую лихорадку выбрать, какая лучше.

— У наших детей лихорадка Пенза. Очень опасная.

— Ах, это уж-ж... Такой лихорадки не бывает. Кушайте сахар.

— Нет, бывает. Вы ничего не знаете.

— Вы сами ничего не знаете. Кушайте желуди. Слушайте, не толкайте чайник!

— Я не толкаю.

— Нет, толкаете.

Голоса у обеих становятся естественными.

— Вы сами дура,— говорит Дюнка своим настоящим голосом,— и я с вами не играю.

Смахнув по дороге чайник, она вылезает из-под фикусов красная, готовая к реву, и на этом кончается игра.

* *
*

Бабушка Елена Григорьевна выводила нас, детей, в церковь. Семи лет меня впервые исповедовали и причастили, и вслед за этим начались ночные страхи. Происходило это так: перед сном, после молитвы, когда тушили лампу в детской, я забивалась под одеяло с головой, сжималась в комок и, зажмурив глаза, шепотом произносила трижды: «Бог маленький, бог горбатый, бог дурак». Эту богохульную формулу я изобрела сама. Всякий раз, произнося ее, я замирала от ужаса в ожидании божьего гнева. Казалось, сейчас грянет гром, небо полыхнет огнем, все кары небесные обрушатся на меня. Но вокруг было тихо и мирно. Сонно дышали брат с сестрой, похрапывала бабушка, тикали часы. Расслышал ли он меня?

— Бог маленький, бог горбатый, бог дурак,— шипела я снова из-под подушки в иступленной решимости замахнуться на святыню и затем принять удар и гнев божий.

Но удара не было. Бог безмолвствовал, и в тишине этой было нечто более страшное, чем громы и молнии, которых я ждала. А вдруг его вовсе и нет?

Высочив из постели в одной рубашке, я бежала в спальню к родителям. Меня брал к себе в постель отец и успокаивал. Я засыпала у него на груди.

Эти нелады с богом длились у меня довольно долго. Дошло до того, что по вечерам я боялась укладываться в постель и просила отца посидеть рядом.

— Не уходи,— говорила я,— а то опять будет дума думаться. Я боюсь.

Вскоре после этого я сочинила длинные стихи про розу «царицу цветов», которая «увяла, не зная любви». Бедные мои родители растерялись и прослезились, но, не давая им передышки, я снова озадачила их, объявив как-то, что буква «а» похожа на клюквенный кисель, а буква «о» — на сырое мясо, а буква «е» — совсем как шоколад.

Решено было свести меня к профессору Преображенскому, известному московскому психиатру. Профессор был человек неглупый. Он стукнул меня по коленке молоточком, ущипнул за щеку и предложил водить на каток три раза в неделю.

— По утрам гимнастика и холодные обтирания,— сказал он,— а если дума будет думаться, то и шлепнуть не вредно разок-другой.

Так кончилось мое богоборчество. Нам с братом купили коньки, и мы с увлечением катались на Патриарших Прудах много зим подряд. Посещение церквей стало редким, что огорчало сильно бабушку нашу, Елену Григорьевну.

* *
*

Стихи я начала писать лет с семи. Сейчас мне кажется, что родители мои, оба влюбленные в словесность всякого рода, поощряли детскую графоманию более чем следовало. Правда, результат получился обратный. Неумеренное подталкивание очень скоро охладило меня. Писать стихи по принуждению оказа-

лось нудным делом, от которого чаще всего хотелось увильнуть. Это был, конечно, здоровый инстинкт самосохранения.

Вспоминаю обычное нытье:

— Мама, мне скучно.

— Займись чем-нибудь.

— Чем?

— Ну, сядь, попиши стишки.

Или в самый разгар буйства в детской:

— Дети, прекратите возню! — Мамин палец лезет ко всем по очереди за воротник, и бегать больше не разрешается.

— Опять вспотела, — говорит мне мать, — сядь, посиди спокойно. Сочини стишок.

Вспоминаю кадку под водосточной трубой у балкона, в которой я стираю кукольное белье. Занятие восхитительное и запретное.

Я с упоением дрызгаюсь в кадке. Я окунаю в воду обе руки по локоть. Я наслаждаюсь водой с жадностью, почти стихийной, свойственной всем здоровым детям.

Из окна сестра Дюнка с забинтованной шеей, после ангины, неотрывно следит за мной. Она стоит на подоконнике, приплюснув нос к стеклу, и завидует. У ног ее жмурится Коша, любимый кот, тот самый Коша, которого профессор Фортунатов сгреб однажды по рассеянности с сундука в передней и положил себе на голову вместо шапки.

Когда Дюнке становится невмоготу, она кричит, приоткрыв форточку:

— Маме скажу, что ты дрызгаешься. Иди домой.

— Ябеда, — спокойно отвечаю я, не вынимая рук из кадки, и, чтобы еще завиднее было, погружаю их в воду почти до плеч.

Взбешенная Дюнка вместе с Кошей скатывается с подоконника, но через минуту снова карабкается на него.

— Иди писать стихи,— кричит она в форточку, начальственно тараща глаза,— я маме скажу!

— Ябеда,— невозмутимо повторяю я, делая в кадке бурю одной рукой, а другой шлепая по буре так, что брызги взлетают выше головы.

Но тут в окне появляется мама.

— Это что за безобразие! — кричит она.— Сколько раз тебе говорили: не подходить к кадке! Марш домой!

Дома меня сначала бранят, потом заставляют переодеться с ног до головы, потом поят горячим молоком и, наконец, усаживают за стол в детской, у печки:

— Пиши стихи.

Дюнка, которой всегда хочется делать то же, что делаю я, садится рядом с листом бумаги. Она бойко выводит карандашом большие печатные буквы:

Уж ты лес, ты мой лес,
Ты мой миленький лес!
Как люблю я тебя,
Ах, люблю я тебя,
Ох, люблю я тебя... *

Дальше у нее ничего не получается. Тогда под стишком рисуется большая кадка. Из кадки хлещет вода, похожая на лошадиный хвост. Рядом стоит человекообразное с растопыренными руками. А ниже — подпись: «Туска дрысгаица».

* Стишок этот много лет спустя взял А. Н. Толстой для своей повести «Детство Никиты». (Здесь и далее примечания автора помечены звездочкой, примечания редакции — цифрой.)



Я так привыкла к особому положению в кругу детей, что уступить его не могла без мук честолюбия. На детских вечерах я декламировала без конца свою «Розу» и другие стихи. Танцевала качучу, была коноводом в играх.

Но вот на одном из детских праздников случилось так, что новая девочка, привезенная в гости, восьмилетняя Таня Кедрова, затмила меня.

Девочка эта, дочь цыганки и московского адвоката, смуглая красотка, похожая на итальяночку, пела «Мой костер в тумане светит...» так, что все вокруг диву давались. Она же плясала по-цыгански, трепеща детскими плечиками, она же декламировала «Демьянову уху» с жестами и мимикой. Весь вечер она была в центре внимания и успех свой принимала просто и весело, как нечто обычное для себя.

Сердце мое набухало незнакомой болью и горечью. Я жалась по стенкам, пряталась за портьеры, в нишу окна, но никто не замечал меня, никто не хотел ни моих стихов, ни моих басен, ни моей качучи. Когда же мама, посадив на колени к себе цыганочку, обняла и поцеловала ее, я не выдержала. Я пулей вылетела из комнаты. В темном коридоре, за сундуками, я бросилась на нянькину постель ничком и закусила подушку. Горе мое было велико и неожиданно. «Все кончено, — думала я, — уйду. Пусть любят Таню Кедрову. А я уйду. Я никому не нужна. Уйду по черному ходу».

Это решение — уйти по черному ходу, особенно почему-то разжалобило меня и потрясло. Я разрыдалась. Перепуганная мать, отыскав меня за сундуками, долго

утешала и клялась, что любит меня больше, чем Таню Кедрову, несравненно больше. И как сладко было поверить ей!

А девочку больше не приглашали к нам в дом; до сих пор не знаю, правильно ли это было.

* *
*

Я была влюблена в свою мать¹. Она была красивая. Стоя возле трюмо в ее спальне, я любила смотреть, как она одевается, собираясь в театр или в гости.

Тайный обряд ее туалета, все его хитрости казались мне священными. Вот она подвязывает голубую стеганую подушечку сзади, по моде того времени, и на атласный чехол надевает черное тюлевое платье со стеклянной стрекозой у пояса. В пепельные волосы, высоко взбитые спереди, она вкалывает чайную розу. Она мне кажется такой прекрасной, что слезы мешают смотреть.

* *
*

Мне запомнился знойный день на даче под Москвой, в Троекурове.

Мы идем по дороге, среди ржи. Васильки синеют по сторонам, и мама плетет из них венки. Нас обгоняет телега. На рогожах лежит странно вытянутое тело. Голова запрокинута и покрыта белым платком с двуглавым орлом. Ноги в сапогах длиннее телеги и торчат, как деревянные. Я никогда не видела покойни-

¹ Мать Н. В. Крадиевской-Толстой, Анастасия Романовна Крадиевская (урожд. Тархова), — писательница.

ков. Мне страшно, и тревожно, и любопытно глядеть на телегу.

Высокий седой старик шагает рядом, с вожжами в руках. Он останавливает лошадь и на вопрос матери, откуда везут тело, отвечает мрачно:

— С Ходынки везем. Обласкал ваше величество сына. Одарил, вишь.— Он указывает на кружку с царским портретом, зажатую в мертвой руке.

— Там таких тыща! — кричит баба, оборачивая к нам лицо в слезах.— Ой, роднаи! Подавили народу видимо-невидимо!

Старик подымает руку с кнутовищем, словно угрожая кому-то.

— Не будет проку царству ихнему,— говорит он зловеще,— не будет.

Он дергает вожжи, и снова мотается мертвая голова. Мы провожаем глазами страшную телегу, пока волны ржи не скрывают ее.

— Мама, что такое Ходынка? — спрашиваю я, дрожа от тоски и ужаса.

Но мать не отвечает. Бледная, она опускается на траву тут же, у дороги, и закрывает лицо руками.

* * *

Бухта в Суко, у Черного моря. Нас, детей, привезли сюда из Анапы на пикник. Все разбрелись по дикому ущелью, заросшему буковым лесом, и я осталась одна на берегу. Я долго вслушиваюсь в могучий шум воды, похожий на дыхание великана. Густо-синее беспокойное море движется передо мной, как живое, взлетает пеной, шипит у ног. Его слишком много для моих шести лет. Мне еле под силу вместить в себя эту красоту, это первое «свидание наедине» с природой.

Она обрушивается на меня, как гора на мышонка, и я чувствую странную тревогу. Мне хочется кричать, петь, звать на помощь. Перескакивая по круглым валунам, под которыми копошатся крабы, я добираюсь до глубокого места и сажусь, свесив ноги, над лазурной водой, пронизанной солнцем. Дна не видно, только в глубине, как призраки, проплывают медузы. Я долго сижу так. Трудно сказать, что я чувствую, но сила чувства такова, что через сорок лет, плывя на пароходе вдоль этих берегов, я жадно и тщетно ищу глазами бухту Суко — мой потерянный рай.

* *
*

Как будто бы на этом прерывается ряд туманных картин и видений, возникающих из глубины времени при слове «детство». Как мало событий! Но разве одними событиями питается память? Нет! Чаще всего память нашу властно тревожат волнения ушедшей жизни, неуловимые, как запах, как тень от бегущего облака. Они бессюжетны, и в этом их сила. В летописи жизни им нет места, но как много их позади нас, взгляните! Как стойко сохраняют они свою первоначальную свежесть и силу воздействия! И когда мы стареем, идем под уклон, они все чаще сопровождают нас, эти запахи, шумы, тени и звуки далекой жизни, наши земные очарования, неуловимые, беспредметные, но способные одним своим приближением воскресить и преобразить время, стереть его грани. Не они ли слетят к нашему изголовью в последний час? И когда мы спросим в предсмертной тоске: так что же, в конце концов, было жизнью? — не они ли пронесутся перед потухающим взором и перекинутся радугой из былого в небытие?

ГРАНАТНЫЙ ПЕРЕУЛОК

I

Москва начала девятисотых годов.

Гранатный переулок, патриархальный, тихий, весь в зелени. Узкие тротуары, поросшие травкой. Особняки, сады, заборы, за которыми благоухает сирень и липы, легит белый пух с тополя.

Вот процокал рысак. Протарахтел извозчик. Скулит шарманка на заднем дворе. Улицу не спеша переходят куры. Это петух с церковного двора ведет свое семейство подкормиться на богатом дворе у Голяшкиных.

Из раскрытых окон многоэтажного дома Рихтера рокочут гаммы, плывет меланхолический этюд Шопена. Сладостным тенором взывает разносчик: «Огурцы зеле-е-ны!» Дворник поливает тротуар из лейки. Бредет понурый сыщик.

Там, где переулок искривлен косым углом, против белых колонн леонтьевского дома, два сада скрещиваются верхушками лип, бросая сквозную дрожащую тень на тротуары.

Хлопнула калитка. Бежит лицеист, размахивая ракеткой; за ним две барышни, в английский блузках, в прямых канотье, тянут на ремешке бульдога.

Старик профессор с длинной бородой бредет, уткнув нос в «Русские ведомости». Натыкаясь на прохожих и на тумбы, он вежливо кланяется.

В палисаднике перед домом старуха Протасова прогуливает своих многочисленных кошек. В длинном костюме, в мужской шляпе на стриженной голове, похожая на пастора, она терпеливо ждет, опираясь на клюку, пока питомцы справят нужду. Иногда она разговаривает с ними по-английски, усовещевает, соболезнует:

— Oh, poor creature! Are you ready, Deazy? ¹

Татарин-дворник почтительно сторожит эту пастораль.

Чинным выводком шагают с англичанкой дети шоколадника Крафта. За солдатскую выправку их так и называют «шоколадными солдатыками». Дети рыжие, в шотландских носках. У англичанки воротник на шее, как мужская манжета. Мальчишки с церковного двора шушукаются вслед Крафтовым детям: «Вон энти Христа распяли. Бога-а-тые!»

А дальше, у ворот своего дома, почтенный Михаил Яковлевич Герценштейн мирно беседует с журналистом Иоллосом на политические темы, и оба не догадываются, как затянулась их беседа и как давно личность в пыльном котелке, сучая поодаль, ждет ее окончания.

Проехал в кебе предводитель дворянства Базилевский. Дворники кланяются вслед.

Идут два гимназиста, шинели нараспашку. Тот, что повыше, непримирим и решителен. Одним: взмахом ранца он зачеркивает «искусство для искусства» и прочую «эстетическую белиберду».

Низенький волнуется:

— Ты не прав, Сережа. А как же Ибсен? С позиций Писарева разве ты разберешься...

Гимназистов вспугивает бешеный цокот копыт. Звероподобные пристяжные, которым тесно на мостовой, чуть не сбивают мальчиков с ног.

Полулежа на подушках, в мехах и перьях, проносится в ландо князева цыганка, вся словно обугленная, красивая и разочарованная, как врубелевский демон.

¹ О, бедное создание! Ты готова, Диззи? (Англ.)

— Танюша,— шепчет тот, что постарше,— соержанка князя Голицына! Видел?

Низенький восторженно смотрит вслед. Белый пух тополя, кружась, падает ему на фуражку.

II

Дом Скирмунта, в котором я росла и начинала жить, значился под № 22 по Гранатному переулку и выходил на улицу одними только воротами на каменных столбах. Правый столб обрамлял калитку, левый — нишу со скамеечкой, на которой попеременно дежурили сыщики. От ворот аллея густых елок выводила на широкий двор, где обширно раскинулся двухэтажный каменный особняк. Так строили в Москве в конце прошлого столетия богатые купеческие дома: солидно, прочно, домовито, с зеркальными окнами, с лепными украшениями, без особых потуг на какой-либо стиль. Чудовищный московский «модерн», с каменными кудрями, с ундинами и лотосами на фасаде, пришел позднее, установленный московскими Медичами Рябушинскими. Каменная терраса и балкон выходили на противоположную сторону, в сад. В нем водились соловьи. Большой, он казался еще больше и тннистей от примыкавших к нему с трех сторон соседних садов. На площадке перед домом — цветник, подале — старая липа, в тени которой летом пили чай. Помню по вечерам тонкий зуд городских комариков над чайным столом, запах сырой резеды, отдаленный грохот пролеток...

В конце сада по чьей-то прихоти садовник насыпал горку. Засеваемая к лету особыми семенами, она цвела ромашками и васильками, благоухала полевой мятой. На горке — скамеечка. Сидя на ней, видишь на-

право и налево соседние сады, а если обернешься — небольшой парк и готический особняк соседа, Саввы Тимофеевича Морозова. За горкой вдоль дорожек — кусты крыжовника и смородины. Здесь тесно от лопухов, из углов сада уютно попахивает грибами. Сюда приходят для уединения. Здесь можно без помехи хорошо выплакаться, посеCRETничать, прочесть письмо, помечтать над книгой. Здесь мы, дети, схоронили любимого скворца под кустом бузины. Помню эти похороны и дощечку с надписью: «Здесь покоится скворец, умученный кожжками».

Детство мое связано с жизнью этого сада. И сейчас — закрою глаза и вижу его в зимнем уборе: в сугробах сверкают ледяные дорожки, и летят по ним веселые санки. А весной он, сырой и синий от подснежников, полон криками галок. Великопостный звон плывет над ним из ближней церквушки Георгия на Всполье.

III

В этом доме в конце XIX и начале XX столетия шла большая и шумная жизнь. Жизнь эта интересовала и беспокоила жандармского полковника Шрама, начальника охранного отделения; оно помещалось в проходном дворе дома Рихтера. Узкая дверь, ведущая во двор, была похожа на щель, из которой, как клопы, расползались по всему переулку сыщики и филеры. Центром внимания были два дома: дом банковского деятеля М. Я. Герценштейна (впоследствии убитого черносотенцами в Териоках) и дом Скимунта, в особенности последний. Дежурство сыщиков у этого дома стало бытовой традицией переуллка; постоянство этой традиции было почти трогательным.

— Дети, да снесите ему бутерброд! — говорила мать. — Ведь мерзнет человек. На дворе восемнадцать градусов.

И мы бежали к воротам с бутербродом. Помню, как на ветру сыщик Иван Гаврилович ел бутерброд с тертым зеленым сыром, сдувая пыльцу гнойного цвета в рыжие усы.

Владелец дома Сергей Аполлонович Скирмунт, или дядя Сережа, как мы его называли, родился в шестидесятых годах. Отец его командовал полком в Воронеже. Дяде Сереже было три года, когда умерла мать. Похоронив жену, полковник Скирмунт с сыном и старшей бонной-немкой сел в кибитку и сорок дней ехал по зимним сибирским дорогам до места новой своей службы в Иркутске. Сына он довез невредимым; сам же, приехав в Иркутск, слег в лазарет и умер на пятый день от воспаления легких.

Осиротевший мальчик остался на руках у бонны, без дома, без опеки, без средств. Кое-как добрались до Москвы. В переулках Остоженки отыскивали дальнюю тетку, одинокую старую деву. Она приютила дядю Сережу, и деревянный теткин флигелек стал его домом.

Когда мальчику исполнилось девять лет, тетка, по семейной традиции, определила его в кадетский корпус и затем в Александровское юнкерское училище.

Трудно было придумать более неподходящую карьеру для дяди Сережи. По всему складу своему он был человек сугубо штатский. Казарма того времени, муштра, армейский окрик, весь казенный пафос царской военщины были ему чужды. К тому же идеи семидесятых годов, книги Чернышевского рождали новые противоречия с той средой, в которой приходилось жить. Все же он дослужился до чина штабс-капитана.

Юность была одинокой. Он много читал. О будущем думать не хотелось, и кто знает, каково бы было оно, если бы не налетело вихрем событие, перевернувшее жизнь. Знаменитый адвокат Плевако разыскал штабс-капитана Скирмунта и сообщил ему, что он является одним из ближайших претендентов на многомиллионное наследство после скончавшегося недавно степного помещика Скирмунта.

Покойный был холост. Нелюдимый дикарь, он жил в Перекопских степях на хуторе один с медведем, которого приучил пить коньяк. Под вой степных вьюг коротали они хмельные ночи и дни. Мохнатый собутыльник лакал французские вина прямо из корыта и, упившись, засыпал в объятиях друга, положив на него лапу. Помещик умер от белой горячки, медведь вслед за ним — от тоски и верности.

Громкий процесс по наследству длился около года. В результате дядя Сережа получил состояние в два с половиной миллиона, степные хутора и земли в Перекопском уезде. Ему было тридцать лет. Он вышел в отставку. С этого времени основной задачей и целью его жизни было одно: как разумнее употребить свалившиеся на него деньги, которые он называл «шалами», каким общественно полезным делом оправдать эти деньги. Богатства своего он как будто бы стыдился, во всяком случае оно его тяготило и заботило.

Около ста тысяч внес он в «Общество культурно-просветительных народных развлечений», только что основанное в Москве. В имении своем он построил образцовую школу и больницу, на хуторе заменил старые избы стандартным поселком. В те времена все это казалось политической дерзостью. На школу косились из министерства просвещения. Засылали чиновников ревизовать учительский состав.

В дальнейшем характер его деятельности определило сближение с моими родителями, жившими в кругу литературных интересов. Совместно с моим отцом¹ он вошел пайщиком в книжный магазин «Труд» на Тверской улице и основал книжное издательство, выпустившее в свет десятки изданий. Он субсидировал многие литературные и культурно-просветительные начинания. Ни один нуждавшийся не вышел неудовлетворенным из его дома.

Скромный до ригоризма в своих потребностях, аскет, чудака, пожалуй, больше всего он любил возню с ребятами, игру в снежки, каток, лыжи, невинное житишко наших детских комнат. Любил природу, симфоническую музыку, романы Диккенса, салаты доктора Лямана* и хороший кофе, который варил всегда сам, колдуя и священнодействуя подолгу над хитроумным голландским кофейником.

Конечно, он был чудака. Все в его жизни и судьбе складывалось не так, «как у людей». В его натуре было что-то от прирожденного вегетарианца; моральная и физическая чистоплотность в его вкусах и обычаях граничила порой с курьезом. Многие находили его красивым. Горбоносый, с высоким лбом, с апостольской бородой и синими глазами, полными скромного и благожелательного внимания к людям, — таким знали Скимунта многие в Москве, таким вспоминают многие его пережившие.

В жизни и судьбе этого человека большую роль сыграл Алексей Максимович Горький. Он определил

¹ Отец Н. В. Крандиевской-Толстой, Василий Афанасьевич Крандиевский, — прогрессивный публицист; редактировал и издавал в Москве «Бюллетени литературы и жизни».

* Нарезанные тонкими ломтиками огурцы и помидоры со сметаной.

его политические вкусы. Честный и принципиальный во всем, Скирмунт не останавливался никогда на полпути в своих поступках. Через руки Алексея Максимовича немало прошло скирмунтовских денег, отданных на нужды революции, на подпольную работу тех лет.

Я забегаю вперед, чтобы коротко рассказать о дальнейшей судьбе дяди Сережи. Он был арестован в 1902 году. Просидел несколько месяцев в тюрьме, выпущен на поруки и затем сослан в Олонецкую губернию. Его вернула из ссылки амнистия 1904 года.

В дальнейшем он субсидировал первую в Москве большевистскую газету «Борьба», издававшуюся в 1905 году. Известно, что она просуществовала лишь несколько дней. Скирмунт снова был арестован. Выпущенный под залог, эмигрировал в Париж, откуда вернулся уже при большевиках. До последних дней он жил в Москве у друга своего, Екатерины Павловны Пешковой¹. Умер в октябре 1932 года.

IV

Наезжая в Москву из Нижнего в начале девятисотых годов, Горький с женой, а иногда и с трехлетним сыном Максимом, неизменно останавливался у Скирмунта в Гранатном переулке и гостил подолгу. Он был моим соседом по комнате. По утрам нередко слышала я за стеной кашель и сиповатый басок моего соседа.

Обаянию Горького подчинены были все в доме, начиная со взрослых, кончая детьми, слугами и дворником Гассаном. Его приезды были праздником. Московской славе Алексея Максимовича в те времена сопут-

¹ Е. П. Пешкова — жена Максима Горького.

ствовала карикатурная его тень, так называемая «мода на Горького». Было нездоровое любопытство праздной публики к «знаменитому босяку». Москвичи, падкие на всяческую экзотику, искали ее в необычной фигуре писателя. Буревестник! Это щекотало нервы либеральным купчихам. Это было почти так же шикарно, как ручная пантера братьев Хлудовых, разгуливавшая по Кузнецкому мосту. В театрах его обступали любопытные. На него показывали пальцем. В парикмахерских причесывались «а-ля Максим Горький», пили водку с ярлыком «Максимовка», курили папиросы его имени.

Независимо от всего этого неуклонно росли и крепли настоящая популярность и глубокий интерес к творчеству писателя в передовых кругах студенчества, рабочих, интеллигенции. И всюду, где появлялась его высокая фигура в черной блузе, происходило некое сотрясение фундаментов и в воздухе пахло политическим скандалом.

Все это было причиной неистового беспокойства у полковника Шрама в жандармском отделении, и, как следствие этого беспокойства, из щели дома Рихтера ползли и ползли все новые осведомители, сыщики и филеры.

И все же, несмотря на усиленную охрану, дом наш был многолюден и шумен, а в приезды Горького он становился еще шумнее и многолюднее.

В моей памяти Горький всегда окружен людьми. Он всегда деятельно вмешивается в жизнь. Он распутывает сложнейшие драмы, направляет судьбы, спасает самоубийц, принимает новорожденных, открывает таланты, прячет нелегальных, помогает в беде, в любви, опекает, усыновляет. Он заражает всех вокруг деятельным добром, умным человеческим участием. Все

это он делает весело, просто, отнюдь не угнетая человека своим милосердием.

— Послушайте, батенька, вы кашляете! И омерзительно кашляете притом. Это недопустимо, черт вас дери совсем,— басит он за утренним кофе в Гранатном, барабана по столу, расправляя усы, пряча подлинное беспокойство в суровых глазах.— Серьезно, вид ваш мне не нравится.

Сельский учитель, сидящий перед ним, худой, долговязый юноша, только что окончил рассказ о деревенской школе. На скулах его — нездоровый румянец, большой кадык вылезает из просторного ворота украинской рубашки. Он смущенно ломает сушку:

— Не суть важно, Алексей Максимович.

Горький обрывает:

— Молчите, скелетище! Не суть важно! Бить вас надо, молодой человек. Вперед бить, а потом кумысом поить, потом опять бить, потом опять кумысом поить. Все смеются.

Через несколько дней за обедом выясняется, что учитель с кадыком отправлен на кумыс, все устроено,— Алексей Максимович уже списался по этому поводу с каким-то доктором.

— Тетенька Настя,— обращается он к моей матери,— тут одна девица придет. Надо поддержать ее всем семейством. Это по вашей женской части. Девица стоящая. Рыжая. Приняла, понимаете, яду на том основании, что некий художник обошелся с ней неблагоприятно. Обещал жениться и обманул. С художниками это бывает. Я его видел, говорил с ним. Дрянь человек. А девицу жаль. Она скрипачка. Главное — внушить ей надо, дуре рыжей, что подвезло ей необычайно. С таким типом жизнь связать — ведь это же выдумать надо! У нее карьера впереди. Я пальцы ее видел: как

у Паганини. Замечательные пальцы, честное слово! А она яд пьет, как квас, понимаете ли...

Рыжая девица в тот же день появилась в доме. Помню ее очень бледное лицо, казавшееся трагической маской. Огненный узел волос на затылке, тонкие красивые пальцы. Все в доме переживали ее драму. Моя мать, запершись в спальне, разговаривала с ней часами, и обе плакали. Мы, дети, ходили на цыпочках из уважения к этим непонятым страданиям. Алексей Максимович деловито намечал ближайшую программу ее жизни. Дядя Сережа, как обычно, субсидировал эту программу.

Янина, так звали рыжую девушку, была дочерью петербургского банкира и богача Б. Она ушла из дома, порвав с семьей буржуазного уклада. Неудачный роман с художником неожиданно усложнился: банкир требовал возвращения дочери в семью, грозил вмешательством властей. Я не помню, чем кончилось это дело — нас, детей, не посвящали в его детали. Быть может, история Янины не была такой значительной, как нам казалось тогда, но волнение Горького по этому поводу всех заражало. Какой-то период времени все в доме жили Яниной, ее судьбой, и живописный образ этой девушки запомнился надолго.

Однажды зимой, в воскресное утро, Горький поймал нас с сестрой на лестнице. В полушубках, в валенках, мы затыгивали башлыки, собираясь в сад кататься с горки. Горький был не один. С ним был тот самый незнакомый господин с рыжей борсдкой, в золотых очках, что накануне с вечера заночевал у нас в доме.

— Уважаемые дети, — сказал Горький, — окажите товарищескую услугу вот этому почтенному человеку. Надо ему, понимаете ли, выйти из ворот так, чтобы нахлебник наш его не видел. Понятно? (Нахлебником

называл он сыщика Ивана Гавриловича.) Заговорите, отведите в сторону! Одним словом — не мне вас учить. Вы — люди толковые.

Мы с сестрой, польщенные доверием, весело выскочили на двор, волоча за собой легкие санки. Но сестра моя Дюнка не способна ни на какую дипломатию. Она струсила и повернула назад, в сад. Я выбежала за ворота одна.

Было какое-то «тезоименитство». Переулок утопал в трехцветных флагах и в пышных сугробах. С Патриарших Прудов, с катка, весело рокотали трубы военного оркестра. Дворник Гассан скреб тротуар. Иван Гаврилович скучал на скамеечке.

— Иван Гаврилович, прокатите до угла! — попросила я, садясь верхом на санки.

— Извольте, барышня! — встрепенулся сыщик, потом замаялся и добавил нерешительно: — С поста сходить не велено. Я бы рад.

— Ну, пожалуйста! Ну, только до Крафта и назад. Хорошо?

Иван Гаврилович явно продрог, засиделся на месте. Он колебался недолго, сдался под конец и, впрягшись, побежал веселой рысцей по переулку. Я подгоняла, все время оглядываясь назад, прислушиваясь, не хлопнет ли калитка. И она хлопнула. Иван Гаврилович обернулся и, увидя фигуру, быстро удалявшуюся от ворот, сказал мне с горечью:

— Эх, барышня, послушал я вас. Сколько неприятностей будет теперича!

Он рысью помчал меня назад. Но было уже поздно. Незнакомец в очках был уже далеко. Я вернулась в сад.

Через несколько дней, после обеда, Алексей Максимович позвал меня в свою комнату и подарил пять

томов Шекспира издания Брокгауза и Ефрона. На первой странице первого тома он написал:

Если яд мудрец предложит —
Не смущайся, смело пей!
Даст дурак противоядь —
Выливай его скорей!

Из Омара Хайяма

В доме Скирмунта часто происходили многолюдные собрания. Я помню одно из них, на котором Горький делал сообщение о студенческой демонстрации у Казанского собора в 1901 году.

Публики собралось много, и была она очень разнообразной: писатели, адвокаты, актеры, купцы и нарядные дамы. Помню сидевших в первом ряду известных кадетов братьев Долгоруких, двух бородачей богатырского роста; московскую благотворительницу Варвару Морозову, всю в черном, строгую и благообразную, похожую на раскольницу; красавицу Вострякову в соболях.

Конечно, события у Казанского собора не слишком волновали всю эту нарядную публику. Было ясно, что большинство пришло все за тем же: посмотреть вблизи на Горького. Вероятно, Горький понял это и почувствовал себя в кунсткамере.

Вечер вышел неудачным. Я никогда не видела Горького таким злым и хмурым. Не поднимая глаз от листков, перед ним лежавших, он быстро пробубнил вполголоса свое сообщение и сразу покинул зал. Публика разъезжалась, явно разочарованная. После разъезда, за вечерним чаем, Горький мрачно острил:

— Босиком надо было выйти к ним. С удавом на шею. Получилось бы много интереснее...

В один из приездов Горького, вечером, в столовой шло какое-то заседание.

— Задерни шторы,— сказал мне дядя Сережа.

Я подбежала к окну и увидела в саду, за сеткой дождя, человека на дереве. Раскачиваясь на ветру, охватив руками ствол на уровне второго этажа, сыщик старался заглянуть в освещенные окна дома. Выглядело это удивительно глупо.

— Скорее сюда! — закричала я.— Глядите, глядите!

Все сбежались к окнам. Вспугнутый сыщик турманом полетел с дерева.

— Эх, горемыка! — вздохнул Горький, глядя в окно.— И в котелке, заметьте! И усы, как у Мопасана.

Кое-кто засмеялся. Кое-кто чертыхнулся. Дядя Сережа сам плотно задернул все шторы.

— Ну, так как же? Будем продолжать, товарищи? — обратился Горький к присутствовавшим.

И заседание продолжалось, как обычно.

V

Из Нижнего Горький прислал однажды письмо моей матери. В нем был точный адрес дома на Пресне, где в наемном углу голодала бывшая сельская учительница И-ва с трехлетним сыном.

«Женщину эту,— писал Горький,— поручаю Вашим заботам. Ребенка родила она от земского врача, который, прожив с ней два года, бросил ее на произвол судьбы. Судьба же, как видите, не милует ее. Сделайте все, что можно. Приеду, обсудим дальнейшее».

Мать моя поехала по указанному адресу и привезла

женщину с ребенком. Затопили ванну. Мальчика выкупали, обрядили в сестрино платье; оно было длинно ему, до пят. Иссиня-бледный, с золотушной верхней губкой, он был очень жалок.

Сели обедать. Всем было неловко за столом. От длительного голода оба — и мать, и сын — глядели на еду с испугом, с недоверием. Вероятно, так смотрят люди на слишком прекрасные и мимолетные вещи, которым не дано насладиться в меру.

Решено было учительницу с ребенком оставить в доме, подкормить обоих как следует, а дальнейшее устройство судьбы их отложить до приезда Горького и до возвращения дяди Сережи из Крыма.

Учительница, епархиалка по образованию, была очень некрасивая и уже не молодая женщина, худая, с острым, как у щуки, лицом. В выражении ее глаз, всегда испуганных, было ожидание новых ударов судьбы и готовность заранее принять их. Это смирение профессионально-несчастливого человека было неприятно. Учительница была с «достоевщиной», как заметил мой отец.

Дом в Гранатном после голодной жизни в углу был для нее сказкой Шехерезады. Она не умела найти верного поведения среди этого благополучия, казавшегося ей ненадежным и хрупким, как сон. Я помню, как в порыве благодарности она кинулась однажды целовать маме руку, и как мать моя, вспыхнув до слез, крикнула:

— Это нельзя делать! Боже мой, как вы не понимаете, что это делать нельзя!

Все же мало-помалу и мать, и сын обжились в доме настолько, что стали чувствовать себя хорошо и свободно. Ждали приезда Горького. Сергунька (так звали мальчика) поправился, порозовел. Обычно минут за

двадцать до обеда, когда еще накрывали на стол, он уже усаживался на свое место с ложкой в руке и терпеливо ждал еды. Полину (имя учительницы) мама вытаскивала в гостиную, когда собирался народ, усаживала за самовар, втягивала в общую беседу, чтобы не сидела она в стороне «сиротой казанской».

Наконец приехал Горький. Почти одновременно с ним вернулся и дядя Сережа из Крыма. Перепуганную Полину повели наверх знакомить с обоими. Встреча произошла в столовой, за утренним кофе.

Но что случилось с Полиной в это злополучное утро, я до сих пор не могу понять! Бедняга! Она никогда еще не казалась такой фальшивой. Мне и сейчас мучительно вспомнить ее молитвенно сложенные руки, когда она подходила к Алексею Максимовичу, ее приторный голос, бормочущий что-то о «благодетелии».

— Разве я достойна... Нет, я недостойна...— все время повторяла она растерянно и униженно.— Я и мой малютка — мы недостойны.

Горький хмуρο барабанил по столу, не поднимая на нее глаз. Он, однако, не выдержал, когда, схватив его за руку, Полина ткнулась в нее губами. Он встал и молча вышел из комнаты. Вслед за ним вышел дядя Сережа. Мать увела Полину вниз.

Через час наверху, в кабинете дяди Сережи, происходило бурное объяснение.

— Тетя Настя, не могу! — кричал Горький.— Делайте со мной что хотите, но не могу и не могу! Я не архиерей и не икона, так чего же она, черт ее дери, руку мне целует?

— Что же мне делать с нею? — спрашивала мать.— Оттого что она такая и другой быть не умеет, значит, и долой ее? Вам и страдание подавай эстети-

ческое? А вот оно на этот раз не такое, как вам нравится. Извольте принять и такое!

— Не могу! — кричал Горький. — Не могу вынести такого унижения человеческого. Ненавижу нищих, профессиональных страдальцев.

— Неправы! — кричала мать. — Взяли из угла, подняли — так ведите до конца!

— Да поймите вы меня! — убеждал Горький. — Протвиеоеетественно человеку любить свое унижение. А эта — любит. Я сразу почувствовал. Гниет на корню эта ваша епархиалка. И ничем тут не поможешь.

— Быть может, ее можно устроить в Кельменчи? — предложил дядя Сережа. — Там как раз место учительницы освободилось. И для мальчика было бы хорошо.

— Это идея, — одобрил Горький.

Недели через две Полину с Сергунькой отправили в крымское имение Скирмунта Кельменчи. Она учительствовала там долгие годы. Что случилось с ней позднее, я не знаю.

* *

*

В доме бывало много писателей, и почти все они были связаны с Горьким разнообразными узами его дружеской опеки. Он выручал из газетной кабалы Леонида Андреева, начинавшего свой литературный путь судебным репортером в газете «Курьер». Знакомил театры с драматургом Найденовым и устранял его пьесу. Переселял из провинции в Москву суетливого и многодетного Чирикова. Опекал Скитальца. Развивал черноземные мозги молодого Шалапина. Первый признал талант молодого Бунина, самолюбивого провинциала в дворянском картузе, бесприютного со своими фетовскими традициями между двух враждебных ли-

тературных лагерей. И декаденты из «Весов» и гражданские рыдалыцы из «Русского богатства» одинаково отрещивались от его свежих стихов. Горький понял и высоко оценил их. Книгу Бунина «Листопад» он подарил мне под Новый год с надписью: «Вот как писать надо!».

Но особенно нежно любил он Антона Павловича Чехова. Нередко глаза его увлажнялись, когда он говорил о нем.

Об издателе Марксе, «сосущем кровь» из бедного Чехова, было столько разговоров за столом, что восьмилетняя Дюнка, сестра моя, вдохновленная всеобщим негодованием, вылепила из пластилина группу: стоит чахленький человечек с бороденкой в унылом пиджачишке (пластилин зеленого цвета), и до пояса его обвивает щупальцами шарообразное чудовище (пластилин терракотового цвета). На вопрос, что это обозначает, Дюна ответила:

— Это Чехов!

— А это что? — указал Алексей Максимович на терракотовое чудовище.

— Это Маркса, — объяснила серьезно Дюна.

Горький расправил усы, пряча улыбку.

— Надо бы в Ялту послать Антону Павловичу это произведение, — предложил он, — очень назидательная вещь.

* *

*

Однажды в сумерках долго засиделись за чайным столом под липой. Посторонних было немного. Помню Суллержицкого Леопольда, лежащего на шезлонге у самой клумбы; Алексея Максимовича над стаканом остывшего чая, дым его папироски, отпугивающий вечерних комаров.

Суллержицкий много рассказывал о духоборах¹, о новых формах жизни в Америке, откуда он недавно приехал. И, как завершение беседы, я помню слова Горького.

— Социализм,— сказал он, вставая из-за стола,— ведь это же реальность! И если не мы, так вот эти почтенные граждане,— он указал на нас, детей,— они-то наверняка и доживут, и увидят, и руками ощупают эту реальность.

Через тридцать лет, в Горках, сидя у костра в июльский вечер, я напомнила Алексею Максимовичу об этом разговоре под липой Гранатного переулка. Он улыбнулся, помолчал, словно припоминая что-то, потом сказал:

— Вот видите, жизнь оказалась изобретательней и революционной самых дерзких мечтателей, какими были мы. И низкий поклон ей за это.

Он снял тубетейку и поклонился в сторону костра, его золотому пламени.

КОНЕЦ ГЕОРГА ВЕНДЕЛЯ

Мне пятнадцать лет, я учусь в московской гимназии, я пишу стихи, и у меня сложнейший роман с человеком, носящим нерусское имя. Зовут его не то Георг Вендель, не то Георг Вельзен,— не все ли равно! Важно то, что выдуманный этот человек собирает в

¹ Духоборы — представители русской духовной секты. Отрицали обрядность и догматы православной церкви, за что жестоко преследовались официальной церковью. В конце XIX века значительная часть духоборов переселилась в Канаду, где выродилась в анархическую группу.

себе, как в фокусе, все черты любимых героев. Он немного напоминает несчастного доктора Фокерата из пьесы Гауптмана «Одинокие», он и Треплев из «Чайки», и пастор Брандт из Ибсена, и лейтенант Глан из Гамсуна, и барон Тузенбах из «Трех сестер». А главное, всегда и везде облик его сливается с худым, долгоносим профилем любимого актера.

Роман наш неблагополучен, и я не устаю изобретать ему все новые преграды. Они мне необходимы, ибо при бешеных темпах воображения я все же не знаю, что мне делать с благополучной любовью, как с ней управляться. Вероятно, поэтому ежедневный утренний диалог между нами, по дороге в гимназию, мрачен.

Застегнув ранец за спиной, я иду по боковой дорожке Тверского бульвара, говоря за обоих вслух, иногда стихами.

«Я схожу с ума,— бормочет Вендель театральным шепотом,— вы понимаете сами, что так продолжаться не может. Завтра, на рассвете, яхта моя будет вас ждать у Пустынного мыса».

«Что вы думаете предпринять?» — спрашиваю я переводным языком ибсеновских пьес и натываюсь на тумбу у ворот гимназии.

Здесь мечта обрывается. В раздевалке, где висят шубы, где торопливые няньки стаскивают гамашы с пригостишек, под галдеж сотни детских глоток и трезвон колокольчиков, мы прощаемся.

«До вечера,— мрачно шепчет Вендель, пока я усаживаюсь за парту рядом с подружкой Аней Майковой,— я жду вас на закате в хижине старого Янсена. Вы придете?»

«Приду», — отвечаю я вслух, затем раскрываю тетрадь и с головой погружаюсь в будни урока геометрии.



Однако вечером мысли мои заняты другим. Мне не до Венделя, и спешу я не в хижину старого Янсена, а на деловое свидание с живым, невыдуманым человеком. С кем — страшно подумать даже. Меня провожает в передней мать.

— Не долго сиди, — говорит мать, — он занятой человек. Почитай и сразу домой. А главное, гамаша надеь. На дворе двенадцать градусов.

Выйдя на лестницу, я стаскиваю с себя гамаша и запикиваю их в обычное место, в нишу, за мраморный бюст Геродота. Вот причина, почему знаменитый грек на веки вечные слит в моем представлении с гамашами, этими постылыми кандалами юности. Подумать только, я иду на деловое свидание с поэтом Иваном Буниным!

«Принесли стихи? — скажет поэт, встречая меня в передней. — Ну заходите, почитайте. Снимите гамаша».

Унизительной глупости такого положения никто из взрослых не хочет понять.

На улице сумерки. По арбатским переулкам, тесным от сугробов, я выхожу на Сивцев Бразек, потом заворачиваю в Гагаринский переулок. Здесь, на углу, знакомый мне дом Лопатиных, бело-желтый, с колоннами, с надписью на воротах: «Свободен от постоя», — старое гнездо дворянской Москвы.

Огонек светится на антресолях, в окошке у старой девы Екатерины Михайловны Лопатиной, она дома.

«Зайду на обратном пути», — думаю я. Мне представляется белая светелка под низким сводом и ее хозяйка в оренбургском платке, пахнущем пачулями¹,

¹ П а ч у л и — сильно пахнущие французские духи.

скромная, старомодная. Говорят, что поэт Бунин неравнодушен к ней, а злоязычники поправляют: не к ней, а к ее колоннам.

Екатерина Михайловна Лопатина — автор романа «В чужом гнезде», изданного под псевдонимом — Екатерина Ельцова. В этой книге описана история ее первой и единственной в жизни неудачной любви.

Говорят, Лев Николаевич Толстой был взволнован, прочитав книгу Ельцовой.

— Замечательный роман,— сказал он,— но автор не профессионал. Боюсь, что первая книга будет последней.

Так оно и было на самом деле, и Екатерина Михайловна это понимала.

— Какая я писательница,— говорила она,— каждая из нас может написать книгу о себе. Это не литература. Это исповедь.

В кругу «дам писательниц», посещавших гостиную моей матери, Ельцова всегда молчалива, скромна. Она сидит в трауре, не снимая перчаток, чуть приподняв вуалетку на лице. Она изящна. Я люблюсь ею.

— Придите ко мне, почитайте стихи,— позвала она однажды.

Я пришла с двумя толстыми тетрадями. Вероятно, я читала до жестокой мигрени бедную хозяйку в первый же вечер. Она ласково и болезненно улыбалась мне, приложив тонкий мизинец к виску.

— Будем дружить? — спросила она на прощанье.

И мы дружим с тех пор. Я — подросток, ей под сорок. Не знаю, что ей во мне интересно. Мне же так хорошо с ней беседовать, сидя в глубоких павловских креслах, о стихах, о жизни, о прошлом. Она мне читает Пушкина «Цветок засохший, безуханный». Я слу-

шаю и гляжу неотрывно на ее лицо. Оно светится изнутри такой скромной, осенней прелестью, как «тот неведомый цветок», о котором она читает. Иногда она ведет меня в кабинет покойного отца. Здесь собирались в старину московские масоны. Цветные окна струят скупой свет, как в церкви. По стенам книжные шкафы, портреты. Екатерина Михайловна раскрывает сафьяновый томик философских нравоучений Эккартгаузена¹ с автографом на титульном листе. Она читает мне нечто торжественно-витиеватое из этого кладезя мудрости ушедшего века.

Сейчас, проходя мимо дома с колоннами, я вспоминаю слова Толстого и думаю о той единственной книге, которую суждено написать каждому. И мне, быть может?

Мысль эта, как предчувствие, наполняет томительной радостью то место в груди, которое почему-то называют «под ложечкой».

Я долго ищу по переулку меблированные комнаты Гунста, затем, отыскав их, блуждаю по коридорам, устланным красным бобриком, и, наконец, стучу в дверь, на которой кнопкой приколота визитная карточка: «Иван Алексеевич Бунин».

— Заходите. Вы мне простите домашний мой вид?

На нем был бухарский халат. Он сидел в кресле перед коробкой с гильзами и набивал их табаком, рассыпанным по столу. Спокойные ледяные глаза внимательно меня оглядели. Он усадил меня в кресло рядом с собой и сказал:

— Читайте. Я слушаю.

¹ Эккартгаузен Карл (1752—1803) — немецкий писатель, мистик.

Дрожа, я вынула тетрадь и принялась читать подряд, без остановки, о соловьях, о лилиях, о луне, о тоске, о любви, о чайках, о фиордах, о шхерах и камышах. Наконец Бунин меня остановил.

— Почему вы пишете про чаек? Вы их видели когда-нибудь вблизи? — спросил он. — Прожорливая, неуклюжая птица с коротким туловищем. Пахнет от нее рыбой. А вы пишете: одинокая, грустная чайка. Да еще с собой ее сравниваете. Ай-ай-ай, — покачал он головой, — нехорошо. Комнатное вранье.

— А у Бальмонта помните? — сказала я. — «Чайка, серая чайка, с печальными криками носится...»

— Бальмонт! — фыркнул Бунин и залился беззвучным хохотком: — Ну, этот с чайками запакибрата. Ему закон не писан. — Потом наклонился и, строго глядя в глаза: — Вот что, барышня, давайте условимся раз и навсегда — на Бальмонта не ссылаться. Графоманы — опасный народ, а у этого вместо головы на плечах — хризантема, да, да. К тому же он и талантлив, на беду вашу, и потому сугубо заразен. Берегитесь Бальмонта!

Раздраженно, невпопад щелкая машинкой, он разорвал две-три гильзы подряд, оттолкнул их в сторону, взял готовую папиросу и, закурив, откинулся в кресле. «Рассердился», — подумала я. С минуту мы оба молчали.

— Все это я вам говорю потому, что вы молоды, дай вам бог здоровья, и с толку сбить вас ничего не стоит. Ну, скажите на милость, зачем вам чайки и их шхеры понадобились? Знаю, знаю, — он лукаво подмигнул, — это все суконный занавес на Камергерском колдует¹.

¹ Имеется в виду занавес с чайкой в Московском Художественном театре.

Вот несчастье! Вы все в Москве им заколдованы, и старые и малые. А в деревне бывали? Нет? А заячьи следы на снегу видели? Трояшки? А как снег пахнет, знаете? Грозой пахнет, представьте себе.

— И арбузом,— вдруг выпалила я.

— Ого! — крикнул Бунин.— Bravo, коллега! Арбузом? Это неплохо.

Он засмеялся, и мне вдруг стало весело, легко. Вероятно, и Бунину со мной стало проще. Из ящика письменного стола он вытащил коробочку с финиками и стал угощать меня. Финик я съела, а липкую косточку, похожую на чертов палец, зажала в кулаке, не зная, куда девать.

— Бросайте в пепельницу,— посоветовал Бунин и снова заговорил о стихах: — Вот вы пишете: «Жди меня на берегу фиорда». А какой он, этот фиорд, аллах его ведает. Ни вы, ни я его не видали, и потому стихотворение получилось тусклое, нарочное, без единой живой детали. Или вот это: «Бурей разбитая яхта». Простите, в бурю вашу не верю. Буря из пальца высосана. Ну, читайте дальше.

Я читала дальше и думала, как хорошо было бы, если бы я этого не написала.

— Погодите,— прервал вдруг Бунин,— погодите, как это у вас?

Выйду за околицу,
Сяду на лужок,
Под ногою колетса
Сжатый колосок.

— Это что же, босиком, значит? — спросил он деловито и, не получив ответа, воскликнул вдруг: — А на лужке откуда же колосок сжатый? Эх, барышня!

Не жнут на лугу, а косят. Вот и проговорились. Вот и придумали.

Он хохотнул как-то уж слишком обидно. Мне стало жарко. Я чувствовала себя лгунишкой, пойманым врасплох.

«Сжечь,— решила я мгновенно,— сжечь все тетради».

А Бунин продолжал уже серьезным и благожелательным, как у доктора, голосом:

— Жить надо, вот что. И не в комнатах жить, а на сквознячке. Ну что вы знаете? Каковы ваши поэтические ресурсы? Книги, воображение, опять книги. А в сердце что? Да ровно ничего пока. Холодок, нетерпение. Бедно, бедно! Мало топлива стихам вашим. Это все жизнь выправит, погодите. Она подкинет жару. А сейчас... Скажите, вы наблюдательны? — спросил он вдруг.

Я не знала, что ответить.

— Жизнь,— продолжал Бунин,— это не так просто. Ведь она движется, светится, звучит, цветет, пахнет. Она меняется ежеминутно. Надо вглядываться в каждую мелочь, наблюдать, запоминать. Надо любопытствовать. Вы это умеете делать? Я это потому спрашиваю, что в вашем возрасте свойственно проходить мимо жизни. Глядеть поверх. В молодости мы все брезгливы не по чину. Сам грешен был. Знаю. Впрочем... — он улыбнулся,— если снег арбузом пахнет...

В передней, подавая мне шубку, он сказал на прощанье:

— Давайте мириться. Стихи у вас все-таки с кошельком. Писать будете. Я потому и браню вас, дорогой коллега. А это — ваше сооружение? — Он подал мне башлык и пальцем качнул серебряную кисточку на

нем.— Ох, хороша кисточка! — воскликнул он весело и опять засмеялся.

Я была взволнована. Я не соображала, надо ли обидеться или смеяться вместе с ним. Но жечь тетради я уже раздумала. Затянув башлык, я выбежала на лестницу.

— Берегитесь Бальмонта! — крикнул Бунин вдогонку.

Ничего не видя перед собой, с бьющимся сердцем я спустилась вниз, на улицу. Здесь я остановилась и, взяв снег в пригоршню из высокого сугроба, приложила его к щекам.

Дома дверь мне открывает тугая на ухо нянька Фелицата.

— В мороз без гамашов. Видано ли дело! — ворчит она, вытаскивая гамаша из-за Геродота.— Вот простудишь органы, тады наплачешься.

— Нет у меня органов и не будет! — кричу я старухе в ухо, пропахшее постным маслом.— Нянька! Меня поэт похвалил. Слышишь? Знаменитый поэт! Коллега.

— Вот и плохо, что похвалил,— не унимается Фелицата, размахивая гамашами,— за это не хвалить, а ругать надоть.

Зачем раскрывать душу такому человеку? Я бегу наверх и запираюсь у себя в комнате.

Не зажигая огня, я быстро раздеваюсь и подхожу к окну. Морозные перья расшиты на нем, и две нерусские буквы G и W, еще с утра нацарапанные на стекле, голубеют в лунном свете — Георг Вендель. Каким унылым дураком кажется мне сейчас мой возлюбленный! Прочь, худосочная тень!

Я дышу в серебряные заросли на стекле и тру их до тех пор, пока на месте букв не появляется темный

круг. За ним январское небо пышет созвездиями,
как живое. Оно обещает счастье.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

(1903—1904 гг.)

Так суждено преданьем, чтобы
У русской девы первый хмель
Одни лелеяли сугробы,
Румяный холод да метель.

И мне раскрылись колыбелью
Глухой Олонии снега,
В краю, где сумрачною елью
Синеют Свири берега,

Где невеселые просторы
Лишь ветер мерит да ямщик,
Когда, косясь на волчьи норы,
Пронесят кони напрямик.

Не потому ль всем розам юга
И всем обычаям назло
В снегах, покуда пела вьюга,
Впервые сердце расцвело?

И чем смиреннее и туже
В бутон был скручен строгий цвет,
Тем горячей румянит стужа
Его негаданный расцвет.

I

Осенью 1903 года дядя Сережа вышел из Таганской тюрьмы и был сослан в Олонецкую губернию на пять лет.

Из Лодейного Поля он писал: «Дом снят. Здесь можно обеспечить детям нормальные условия для уче-

бы. Ссылный студент К-в берется преподавать математику и физику. Нашел учительницу русского языка, а курс Ключевского буду читать детям сам. Везите с собой особу с двумя языками, лучше всего швейцарку. Хорошо бы, хоть на неделю, вернуться мне в Москву для устройства издательских дел. Похлопочите. А какой здесь воздух, какие просторы! Будет где раз-вернуться ребятишкам и с санями, и с лыжами».

Матери моей удалось выхлопотать у Плеве разрешение Скирмунту вернуться на две недели в Москву, где немедленно начались сборы.

Издательское дело решено было не прекращать. Руководить им дядя Сережа собирался сам, посылая письменные распоряжения из Лодейного Поля. Издательство только что выпустило в свет Полное собрание сочинений Гауптмана и однотомник «Галерея русских писателей». Подготавливались Ибсен, Стриндберг. Переводчиками северных авторов были супруги Ганзен, Юргис Балтрушайтис и поэт Бальмонт.

Странная семья была у нас. Объяснить ее структуру я не сумела бы, даже если бы рискнула потревожить дорогие мне тени. Но я не хочу ни единым словом касаться в своих записках многолетнего и сложного романа моих родителей, поглощенных друг другом с тех пор, как я помню себя.

Отец в тот период времени не жил с нами. Мы, дети, незаметно перешли на попечение дяди Сережи. Вот кто принадлежал нам всеми помыслами. Он был нашим воспитателем и нянькой, опекуном и другом. Он бегал с нами на лыжах, проверял школьные уроки, терпеливо сидел у постели, когда мы болели. Встречал у ворот гимназии и вел на каток. Летом бродил с нами по Швейцарии с рюкзаком за спиной, приучал слушать симфоническую музыку, водил по музеям.

По субботам мылил голову пиксафоном, заказывал гигиеническую обувь по рецепту доктора Лямана и матроски в английском магазине Шанкса. Все было добротное, рационально обдуманное, заботливо предусмотрено, и сколько любви вкладывалось во все это! Милый чудак, дорогой хлопотун, дядя Сережа! Помню, он даже пуговицы пришивал нам к лифчикам сам, особым каким-то «суворовским» способом, которому научился в самогитском полку, увязывая каждый стежок двойным узлом. Получалось так прочно, хоть топором руби. И дядя Сережа был горд, — попробуй оторви-ка!

Самое же ценное в нем было то, что он умел жить с нами на нашем уровне и, казалось, никак этим не тяготился.

Отца мы любили иначе. Его жизнь протекала за пределами нашего детского горизонта. Наклоняться к нам, присесть на корточки для участия в нашем житьишке, он не умел. Многие мужчины не умеют этого делать. Зато, подрастая, каждый из нас пережил период романтической дружбы с отцом. Следы этой дружбы остались во мне на всю жизнь.

Мать моя в своих записках писала об отце после его смерти: «Это был человек из породы многодумов. Есть такая русская порода людей, склонных к философским размышлениям, к морализированию, к истязанию себя совестью. Обилие страстей, противоречащих друг другу, делали его характер, по виду тихий, бурным изнутри, склонным ко всяческому взрывам. Всю жизнь не хватало ему внутреннего благополучия. Он много мудрил, бунтуя против своей природы, тоскуя по совершенству. И только перед смертью сошел к нему мир в глубоком религиозном просветлении. Но об этом надо писать отдельно».

Дом в Гранатном был разорен. Часть мебели, упакованную в ящики, уже вывезли на вокзал. Было странно подумать, что скоро настанет день, когда я проснусь не в комнате своей с итальянским окном, за которым качается знакомая лиственница. Покидаемой жизни было не жаль. Ни жалеть, ни вспоминать я еще не умела, — мне шел шестнадцатый год.

Дня за два до отъезда, уже освобожденная от гимназических уроков, я пристроилась на ящиках в пустой зале, с томиком Тютчева и антоновским яблоком в руках. Свежий ветер, врываясь в распахнутые окна, кружил солому на паркете. В соседней комнате стучали молотки, и шарманка на дворе пела о разлуке: «Разлука, ты, разлука, чужая сторона...» Было очень хорошо сидеть так. Антоновка холодила зубы, а из книжечки, которую я держала в руках, тоже струился осенний ледок такого колдовства слов, что порой хотелось остановиться, перевести дыхание.

— Вот уж это глупо, сидеть на сквозняках, — сказал дядя Сережа, выходя из кабинета вместе с Бальмонтом. У обоих в руках были корректуры. Бальмонт заглянул ко мне в книжечку.

— Тютчев? — поморщился он. — Стариковские стихи. Не скучно читать их?

— Нет.

— В вашем возрасте надо Шиллера читать, Байрона, Бальмонта. Вам нравится Бальмонт?

Вопрос был врасплох.

— Не очень, — ответила я и сразу поняла, что сказала дерзость.

Бальмонт рассмеялся, затем, подавая руку на прощанье, сказал:

— Запомните, все же, чтобы писать стихи, надо влюбиться в Бальмонта. Это неизбежно.

И, надменно вскинув пушистую голову на длинной шее, забинтованной, как всегда, в черный фуляр, он вышел, коротконогий и величественный.

Проводив его до передней, дядя Сережа вернулся с пледом, накинул мне его на плечи и сел рядом.

— Ляпнула,— сказал он, но в голосе его не было нужной строгости,— нехорошо так, невежливо.

— Сама не знаю, как это вышло, прости, пожалуйста.

— Зря тебя Бунин настропалил против него,— продолжал дядя Сережа,— он поэт все же замечательный.

— Ну и пусть. Ты вот лучше послушай это.— И я стала читать любимые места из Тютчева.

Не знаю, был ли дядя Сережа знатоком стихов, но он умел их слушать, а мне только этого и надо было. Мы просидели на ящиках до обеда, а после, взявшись за руки, пошли по всем комнатам и антресолям прощаться с домом.

— Вот и кончился Гранатный,— сказал дядя Сережа, вздохнув,— ну что ж, перевернем страницу!

В сумерках у дверей появился Николайчук и, деля знаки руками, вызвал меня в переднюю.

— Там Сирожка дожидает с тытэрком,— шепнул он таинственно, с белорусским своим акцентом.

Я сбежала вниз по лестнице и в полутемной передней с разбегу налетела на гимназиста Сережу Ивановича. Не снимая шинели, он стоял мрачный и взлохмаченный у ниши с бюстом Геродота. Через плечо ружье, сумка и еще какие-то охотничьи признаки.

— Здравствуй,— сказала я,— ты с охоты?

Не подавая руки, он молча швырнул мне под ноги убитую птицу и выбежал за дверь.

Умел загадывать загадки гимназист седьмого класса Сергей Ивницкий! Правда, птица была не чайка, а просто утка (ее съели на другой день с яблоками), но жест был многозначительно красив, как в Художественном театре, и я оценила его.

Сережа Ивницкий был одним из трех вкладчиков товарищества на паях, прозванного моим братом «Туськин гарем». Пайщики жили дружно между собой. Последнее заседание, посвященное отъезду в Лодейное Поле, назначено было у меня в комнате на сегодня в девять вечера. В повестке дня стояли стихи, речи, воспоминания и напутствия.

Но так уж устроено нетерпеливое человеческое сердце, — оно устремлено вперед в свирепой жажде перемен. Три гимназиста-пайщика были вчерашним днем, и — боже мой! — как убоги и смешны в свете наступающей жизни были треволения «Туськиного гарема»! Какие это все были детские пустяки!

Я искала предлогов отменить заседание. Заболеть? Затопить ванную? Или просто удрать из дому на каток?

III

В Петербурге мы жили в «Северной» гостинице уже третью неделю, ожидая санного пути по Шлиссельбургскому тракту. Нева стала, но лед был еще ненадежен.

Мать моя, пользуясь свободным временем, делала визиты петербургским знакомым. Дядя Сережа водил нас по музеям. По будням в прохладных залах Эрми-

тажа народу было немного. Снежинки порхали за высокими окнами на Неву. Зимний свет, отраженный ее белой гладью, вливался в эти залы успокоенный, жемчужно-матовый. Слабыми бликами он касался лишь золота рам и резных завитков на них, не нарушая гармонии красок на темных полотнах, словно робея перед красотой.

Робели и мы перед ней; разговаривая шепотом, бесшумно скользили в музейных туфлях от одной картины к другой. Мадонны улыбались загадочно. Особенно запомнилась одна, смуглая. Из-под век потупленный взор ее следил за мной, где бы я ни стояла. Взор был лукавый и благосклонный. Казалось, она знает обо мне самое потаенное, чего не знаю я сама. Я ее побаивалась, и меня тянуло к ней. Венки и букеты фламандцев, амурсы и нимфы, бычьи туши и олени потроха на полотнах Снайдерса, серебряные груды рыб, лимоны и устрицы, вся плотоядная роскошь красок пела из глубины веков о жизни, о бессмертном ее великолепии. Его было, пожалуй, слишком много для моих пятнадцати лет. Я бродила по светлым залам подавленная, переполненная. Впервые овладевала мною тревога, рождаемая созерцанием прекрасных вещей. Казалось, что-то надо немедленно совершить. Недостаточно только вздыхать, удивляться и цепенеть перед красотой. Жизни, поднятой на уровень этого великолепия, подвигов, возвышенных дел и чувств впервые просило сердце.

Смеркалось. Сторож со звонком проходил по залам. Дядя Сережа затягивал нам башлыки в холодном вестибюле, и все кончалось усталостью, неутоленностью чувств, горечью какого-то обмана. Это называлось музейной хандрой. Она недолго длилась. Столько лекарств от хандры в этом возрасте!

Наконец хмурым декабрьским утром к подъезду гостиницы были поданы четыре возка, по две лошади каждый. Вернее говоря, это были даже не возки, а крытые кожухом, устланные сеном и кошмой простые деревенские розвальни, долгий путь на которых удобнее всего совершать полулежа.

Лошаденки, большеголовые, коренастые вятки — по слухам, самые шустрые и выносливые на бегу — весело потряхивали бубенцами под расписными дугами.

С вечера, накануне, выехало по Шлиссельбургскому тракту шесть возов с мебелью и книгами в сопровождении Николайчука. Нам надлежало нагнать их в пути, чтобы вместе заночевать в деревне Серегино, за Ладожским озером, и оттуда двинуться дальше, на Лодейное Поле.

Утро было морозное. Длинные овчинные тулупы, надетые на всех поверх шуб, забавляли нас, детей, как маскарад. Мама в валенках, ставшая вдруг ниже ростом, в оренбургском платке, повязанном крест-накрест, выглядела девочкой; дядя Сережа в оленьей ушанке — елочным дедом, а фрейлейн Рашке, с патентованным респиратором на носу, в красном пледе поверх шубы, в каком-то невероятном капоре с петушиным гребнем, выглядела просто сумасшедшей. К тому же по причине всех профилактических мер, принятых на дорогу, пахло от нее больницей. Петербургский пастор, за три дня до отъезда приславший к нам в гостиницу эту особу из убежища для гувернанток при лютеранской церкви, так и рекомендовал ее: «Есть странности, но вполне достойная девушка пяти-

десяти двух лет. Швейцарка, опытный педагог, со знанием трех языков. Согласна в отъезд».

Всех соблазнили три языка, но странностей мы ожидали с некоторым беспокойством, и они не замедлили проявиться в пути.

Больше всех суетились возле саней два городских, два ангела-хранителя, как назвала их мама, охранявшие нашу посадку неизвестно от кого, да ямщик, коренастый, под стать лошадям, от самых глаз книзу заросший рыжими космами (и в голову не пришло бы назвать это бородой!).

На вопрос дяди Сережи, как поедет, он отвечал:

— А по Неве. Аккурат на Шлюшню.

Мать шепнула дяде Сереже:

— Спросите у этого доисторического человека, что такое Шлюшня?

Выяснилось, что Шлюшня это и есть Орешек, а Орешек это и есть Шлиссельбург. Выяснилось также, что от Шлюшни свернуть надо направо, по каналам, так как лед на озере ненадежен и пути по нему нет.

По саням расселись по двое. Впереди я с дядей Сережей, за нами мать с братом, затем фрейлейн Рашке с сестрой Дюнкой, а сзади Дуняша, жена Николайчука, с чемоданами.

Наконец ямщики, оправясь, сказали «с богом» и боком (одна нога на весу) завалились на передки. Ангелы-хранители взяли под козырек. Вятки дружно дернули и, засеменя со звоном по еще темным улицам, быстро вынесли нас под Литейный мост, на широкую и пустынную гладь Невы. Впереди полоской серебрилась заря. Дул ветер навстречу и крутил поземку по голому льду.

— Тебе не холодно? — спросил, перегнувшись ко мне, дядя Сережа.

Нет, мне не было холодно, но все же под жарким тулупом всю меня трясло от радостного нетерпения.

— Мне хорошо,— крикнула я дяде Сереже,— всю бы жизнь так ехать... Ужасно хорошо!

И, словно подтверждая это, еще веселей захлебнулись бубенчики. Ямщик присвистнул и, стегнув пристяжную, закричал нараспев:

— А ну-у-у! Выкома-а-ривай!

Курчавые от инея вятки «выкомаривали» прилежно, семенили ровной рысцой, не сбиваясь на бегу, как заведенные.

Когда Смольный монастырь и корпуса заводов остались позади, потянулась ровная гладь снегов. Изредка проплывали по сторонам, скрываясь за кожухом возка, заколоченные дачи, мохнатые ели садов на высоком берегу, деревни в сугробах, а впереди — снега, снега, еще подернутые сумеречной дымкой. Наконец из-за бугра медленно выкатился на небо малиновый шар, и сразу все вокруг стало розовым и нарядным. Слева нас обогнал возок.

— Какая красота! — крикнула мама, выглянув из-за кожуха.— Меня беспокоят Дюнка с Рашкой... Пусть девочки поменяются местами.

Было решено, что я пересяду к фрейлейн Рашке. Не очень это было приятно, но справедливо. Остановились. Ямщики тихо насвистывали, пока мы пересаживались. От вяток шел пар, и на морозе запахло фиалками. Постояли минут пять, подтянули постромки и тронулись дальше.

Скосив на меня рачий глаз и оттянув резинку респиратора от носа, фрейлейн Рашке спросила врасплох:

— Aimez-vous le sport? ¹

¹ Вы любите спорт? (Франц.)

Вот вопрос, над которым я никогда не задумывалась. В воображении мгновенно пронеслись лыжи в Сокольниках, каток на Патриарших Прудах, теннис в Иванькове. Да, я люблю спорт, и, полагая, что этим разговор исчерпан, я высунулась извозка. Но, как видно, фрейлейн Рашке решила не шутя проверить мое знание французского языка. Каких только вопросов она не задавала мне! Она мучительно теребила мое внимание, перебирала разговорные темы и под конец вернулась опять к спортивной, выразив уверенность, что в имении моего дяди, куда мы едем, процветают все виды зимнего спорта; она заранее приветствовала это.

— Спорт — верный друг здоровья, что думает об этом мадемуазель?

Я ничего об этом не думала.

— Мы едем не в имение, а в ссылку, — сказала я.

Фрейлейн Рашке оттянула свой клюв, словно ей не хватало воздуха:

— *Qu'est ce que ça veut dire — ssillika?*¹

Глубокое беспокойство, почти испуг отразилось у нее на лице. Она сразу умолкла, погруженная в мрачные размышления, которых хватило надолго.

Всю остальную часть дороги никто не мешал мне любоваться однообразным пейзажем под монотонное дленьканье на дуге. Меня слегка укачало, и мало-помалу овладевала мною меланхолия долгого зимнего пути, знакомая каждому русскому человеку. Она была внове для меня, городской девочки, вскормленной одними книгами. Какой ничтожно маленькой впервые казалась я себе в этих огромных снеговых просторах. Россия. Моя страна. Бескрайняя моя родина. Что я

¹ Что такое — ссылка? (Франц.)

знаю о ней? Что знает обо мне вон та девочка с коромыслом у проруби? Она долго смотрит вслед нашим возкам, потом медленно поднимается с ведрами в гору.

Тайна чужой жизни впервые волнует меня, наполняя душу чувством одиночества. Как огромны земные пространства, как огромна жизнь вне меня, помимо меня!

«Длень, длень, длень», — поддакивают мыслям бубенчики на пестрой дуге.

Русло Невы осталось теперь слева, и вятки бегут почти без дороги по широкой, гладкой равнине. Ветер с озера дует навстречу, пьянит озоном. Глаза устали от сверкающей белизны. Я закрываю их.

У юности есть свой запах. Теперь я знаю — моя пахнет снегом. И поныне, если поднесу пригоршню его к лицу, вдохну грозовую свежесть, вот она, юность. Здравствуй, Олония, прохлада моя! Узнаю тебя по запаху.

V

В деревню Серегино мы въехали уже в сумерках. Вдоль улицы стояли наши возы, запорошенные снегом. В стороне распряженные лошади, покрытые кошмой, жевали сено. Николайчук встретил нас на крыльце высокой избы, а в сенях молчаливым поклоном встретила хозяйка и сразу же втащила самовар в жарко натопленную горницу.

Один только угол в образах золотился от лампы в полутьме, но, когда были зажжены на столе две свечи, стало совсем светло и уютно. После дня, проведенного в санях на морозе, после чая с ромом меня разморило, горела кожа на лице, в ушах всё звенели бубенчики, хотелось спать. Нас, детей, уложили на сен-

никах, прямо на полу. Дядя Сережа лег рядом, а мама с фрейлейн Рашке — на лавках, под образами.

Утром, когда перед отъездом собрались пить чай, фрейлейн Рашке в избе не оказалось. Ее долго искали — не сбежала ли, чего доброго?

— А вон она, бабка ваша, — сказала вслух хозяйка, раздвигая герани на окошке, — эвона, посеред улицы крутится!

Действительно, лежа на снегу в шубе и в валенках, прикрыв лицо муфтой, фрейлейн Рашке кубарем катилась с пригорка вниз. Докатившись до колодца, вставала, отряхивалась, снова карабкалась вверх, кидалась в снег навзничь и снова катилась вниз.

— Чегой-то она? — удивлялась хозяйка.

Мы, дети, громко веселились, глядя в окно.

Но дядя Сережа сказал хмуро:

— Совсем это не весело. — И послал на улицу Николайчука, предупредить фрейлейн, что ее ждут к чаю.

Вернулась она возбужденная, и на вопрос, что это за упражнения на снегу, ответила моей матери:

— Мадам, это лучший способ предохранить себя от насекомых в России. Рекомендую его и вам.

— Спасибо, — ответила мама и, наклонившись к дяде Сереже, шепнула: — Старик был прав.

Все мы вспомнили в эту минуту рекомендацию старого пастора.

VI

Запылило, затуманило время в непрерывном своем движении все приметы глухого северного городка на берегах Свири. Стерты события, перепутаны даты, и многое безнадежно забыто. И все же, два эти слова: «Лодейное Поле» — магически воскрешают юность. Услышав их, сердце становится ясновидящим, и его

зоркости в эти минуты мог бы позавидовать сам Нестор-летописец. Снова видит оно: под низким полукругом северного сияния — снега, снега, снега, без конца, без края. И снова слышит то шорох поземки, то посвист вьюги, то нежный и жалобный клекот бубенчиков, обрываемый ветром.

Сердце — свидетель пристрастный и лицеприятный. Учтем это и все же последуем за ним, ибо других свидетелей и очевидцев юности давно уже нет в живых.

* *
*

Просторный бревенчатый дом в два этажа предназначался для купеческого клуба. Но лодейнопольские купцы (люди с амбицией) предпочли каменный дом на базарной площади деревянному на улице, выходящей в поле и открытой всем его метелям. По улице этой тянулись обозы из Питера, и дважды в день, утром и вечером, пролетала со звоном почта. Долго пустовавший дом был снят дядей Сережей скоро по приезде.

Когда затянули полы сукном, убрали стены еловыми ветками, расставили шведскую мебель, разложили книги, повесили маску Бетховена над роялем, затопили печи, стало уютно и как-то не по-русски красиво. Все были довольны.

— Напоминает постановку скандинавской пьесы, — сказала мама, и потому ли, что суконный занавес на Камергерском переулке все еще продолжал «колдовать» (как выразился однажды Бунин), были накроены из компрессной фланели и нашиты повсюду, где только можно, летящие белые чайки.

Помню, в этих стенах хорошо звучала соната Грига, которую мы с братом разучивали тогда. И портрет

Кнута Гамсуна был, «как у себя дома», в венке из еловых веток на бревенчатой стене моей комнаты.

Лейтенант Глан — любимый герой. Неясно все же, в кого я была влюблена тогда: в него ли, в самого ли Гамсуна с челкой на лбу? Вероятно, в обоих и притом — безнадежно.

Дни потекли размеренно. Наладились занятия взрослых и учение детей. Мы особенно полюбили уроки истории. По вечерам собирались за круглым столом под висячей лампой-молнией. Обычно перед началом нового урока читался конспект предыдущего, составлять который поручалось нам с братом поочередно. Затем дядя Сережа читал вслух новую главу из Ключевского, после чего начиналось обсуждение прочитанного. Уютному оживлению этих бесед немало способствовала горка кедровых орешков на столе, до которых и мы, и лектор наш были большие охотники. Впрочем, баловство это вскоре пришлось прекратить, чтобы не рассеивать внимания. Математику и физику преподавал студент Коля Кузьмин, славный юноша, который после занятий бегал с нами на лыжах, а потом оставался к обеду. Хуже обстояло дело с языками. Фрейлейн Рашке оказалась странным педагогом. По ее представлениям, ученическое благонравие наше заключалось главным образом в том, чтобы за уроком не мешать ей вязать шерстяные напульсники и бинты непонятного предназначения. Для этого она усаживала нас за переписывание грамматических правил или же заставляла читать вслух по-французски мемуары некоего многострадального осла¹, слушая которые она нередко за-

¹ «Воспоминания осла» (1860) — повесть французской писательницы графини де Сегюр (1799—1874), урожденной Софьи Ростопчиной.

сыпала. Не прошло и месяца, как пришлось с ней расстаться, а на место ее выписать мисс Фелькерс, речь о которой будет впереди.

По вечерам почтовый возок останавливался у наших ворот. Все выбегали на кухню. Засыпанный снегом почтальон, с обледелеными усами, передавал связки заказных бандеролей, газеты и письма, принимал новую корреспонденцию и, подкрепившись стаканом водки, ехал дальше. И никто не старался понять, как увязать патриархальные эти нравы с почтовыми порядками.

Лодейнопольские ссыльные обязаны были ежедневно являться в полицейское отделение и расписываться в особой книге в целях регистрации. Но урядник Вася, дежуривший у наших ворот, упростил это дело, принес однажды книгу на дом, и с тех пор обычай этот — расписываться на дому — закрепился на все время, до конца ссылки.

Таким образом, административно-ссылный Скимунт жил, хотя и под надзором, в глухом городишке, но с удобствами, как помещик, без земли и усадьбы, со всеми преимуществами помещичьего быта. Из соседних деревень тащили на кухню лукошки с яйцами, с творогом, крынки сметаны и сливок. Цены на рынке взлетели.

— А не бери. Ну ты к ляду! — препиралась баба с покупателем. — Ужо к ссыльному снясу. Он усе возме. Слова поперек не скаже.

А сколько корзин с рыжиками, с брусникой и черникой приносили босоногие ребятишки из Каномы, из Мирошкина и других соседних деревень!

По воскресным дням ссыльная колония собиралась у Скимунта за хлебосольным столом. Урядник Вася не препятствовал этим сборищам, благодумствуя тут

же на кухне за тарелкой добрых щей с кулебякой.

Библиотека Скирмунта снабжала книгами не только колонию ссыльных, в которой насчитывалось человек пять-шесть, но и многих лодейнопольских жителей, среди которых был даже околоточный надзиратель, страстный любитель романов из древнеримской жизни.

— Нельзя ли, барышня, что-нибудь из римского быту, вроде «Камо грядеши»? Бога-атый роман!

Он делал ударения на двух последних словах, и поэтому трудно было догадаться сразу, о каком богатом романе идет речь.

Обязанности библиотекаря были поручены мне. Я выдавала книги и записывала в тетрадке, какие из них и кем взяты.

VII

Под рождество поехали на лесной берег за реку, чтобы срубить елку.

Мы, дети, бежали на лыжах рядом с розвальнями, на которых сидели дядя Сережа и Николайчук с топором и пилой, а правил лесничий по фамилии Рихтер, благообразный старик с баками, не то остзейский немец, не то латыш родом. Сын его, Карл, ученик петербургской Аннен-шULE, приехавший к отцу на каникулы, бежал на лыжах рядом с нами. Это был высокий, плечистый юноша, как «две капли воды» похожий на лейтенанта Глана. Решив это, я сразу почувствовала себя Эдвардой* и понеслась на лыжах впереди всех, легко и независимо, как подобало своенравной норвежке. Все же на крутом спуске с горы лыжи мои разъехались в стороны, а я полетела в снег.

* Герония романа Кнута Гамсуна «Пан».

Из сугроба меня вытащил Карл и, став на одно колено, молча подтянул мне ремень на лыже. Это окончательно убедило меня в том, что я влюблена. Его большие мальчишески худые руки казались на снегу слишком красными, а средний палец был измазан чернилами. Но, отбросив эти досадные детали, воображение продолжало нестись без удержу вперед. Этому способствовало отчасти и то, что герой мой был молчалив, как рыба, и не мешал «накручивать» на себя все что угодно.

На лесном берегу елку искали недолго. Следуя указаниям лесничего, выбрали на опушке стройную голубую красавицу, запущенную снегом. Николайчук подрубил ствол, брат с Карлом подпилили его и рухнувшее дерево поволокли к саням. Здесь его бережно уложили, покрыв рогожей.

Обратный наш путь был уже залит багровым закатом. Мы с Карлом бежали впереди по розовому насту. Лыжи скользили дружно. Карл молчал по-прежнему, и это было хорошо. Дико и вольно, уже по-ночному, по-свистывал ветер в поле. На сердце было весело, смутно, и словно туго натянутая струна гудела в нем все время томительно и певуче. Это был счастливый день.

А в сочельник зажгли елку. Она была нарядная, в серебряных нитях и так высока, что стеклянная звезда на ее верхушке упиралась в потолок. Молча любовались ею приглашенные гости, человек пять ссыльных и все тот же лесничий с сыном.

Потом мы с Дюной, как всегда, под аккомпанемент брата, пели дуэтом «Был у Христа-младенца сад». Мама расплакалась, слушая нас, и ушла к себе, вероятно писать письмо папе.

Рождественский поднос с традиционным синим изюмом, орехами и пряниками оживил всех — и боль-

ших, и малых, но Карлу языка не развязал. Молча давил он грецкие орехи в ладонях, тушил одним духом свечи, догоравшие на верхушке елки. Указав на него глазами, брат шепнул мне с комическим ужасом:

— Молчит, как булыжник! Что делать?

— Ничего,— ответила я,— тебе он не напоминает лейтенанта Глана?

— Глана? — возмутился брат.— По-моему, оба они с отцом типажи из Шпильгагена.

Этого было достаточно, чтобы сразу развеять навязание двух последних дней. Я не люблю романов Шпильгагена. Сразу стало скучно и трезво.

«Опять все высосано из пальца,— подумала я.— Ведь ничего же нет и ничего не было. Как глупо!»

Гостей проводили. Потушили елку. Дядя Сережа загонял всех по кроватям: спать, спать, спать. Но спать не хотелось. Тайком, накинув платок и шубку, я выбежала на крыльцо. Оно было высокое, резное, похожее на то, оперное, с которого пела и плакала Ярославна. И видно было с него хорошо и вдаль и вширь, и всюду голубели снега в лунном свете, одни снега.

Запрокинув голову, я долго вслушивалась в торжественную тишину ночи. В ней был глубокий, величаво размеренный ритм: словно биение огромного сердца заставляло мириады звезд в небе дышать размеренно — то вспыхивать, расширяясь, то, замирая, бледнеть. И в такт с этим таинственным пульсом ночи начинало биться и мое сердце. Оно отдавало себя в этом биении так полно, так самозабвенно, что уже не оставалось меня. И эта потеря была дивной, как новое рождение. Слезы текли по лицу моему, и от них звезды казались косматыми и такими близкими, что вот — протянуть только руку — коснешься.

А по дому меня давно уже искали и, отыскав на крыльце, без сожаления загнали в постель.

— Это что за мерехлюндия? — спросил дядя Сережа, проведя рукой по мокрой моей щеке.

Я только рассмеялась, ничего не ответила. Мерехлюндия? Глупым этим словом нельзя было ни определить, ни выразить того, что переполняло меня. Укрывшись с головой, я долго не засыпала, все еще изумленно и радостно вслушиваясь в самое себя, в колышание блаженного ритма, который мало-помалу переходил в колыбельный.

...А в Гранатном переулке в этот вечер три гимназиста-пайщика, купив бутылку коньяка, тайком пробрались через сад на балкон пустого дома и, усевшись на ступеньках, залитых лунным светом, открыли вечер воспоминаний. Бутылка шла вкруговую вместе со стихами и тостами. Затем захмелевшие мальчики, взявшись за руки, сосредоточенно и дружно вызывали тень из Лодейного Поля. Но вместо тени появился дворник Гассан. Он выгнал гимназистов из сада и наговорил им вслед много нехороших слов по-татарски.

VIII

В Олонии весна приходит поздно. Перед концом зима лютует злей, упорней. Февральские и мартовские ветры пронизывают до костей, завывают по-волчьи: не радуйтесь, мол, мы еще повою-ю-юем!

Но рано или поздно с ночи половодье затопит поля, развезет дороги. И сани уже плывут по воде — не едут, а на пригорках скребут по земле.

Апрель подсушит все. Он все залечит, все приберет. Зеленый коврик расстелит по земле, под ноги маю. И май приходит, еще чуть-чуть озябший от зацветаю-

щей черемухи. Тогда-то и начинается колдовство белых ночей.

Олонецкие ночи! Таких жемчужных, призрачно-туманных я не встречала нигде. Свет струится, словно подводный. И, верней, не свет даже, а только отражение света, его предчувствие, мечта о нем.

Нет, не проходят бесследно такие ночи!

Вероятно, они у нас в крови, и это скажется когда-нибудь, но в чем и как — не знаю.

МИСС ФЁЛЬКЕРС

В мае открылась навигация по реке Свири.

С первым пароходом уехала от нас придурковатая фрейлейн Рашке, а недели через три на этой же пристани мы встречали новую учительницу, выписанную из Петербурга, мисс Фёлькерс.

Непонятно, почему ее называли так. Английской крови в ней не было ни капли. И по внешнему виду это была типичная немка из северных провинций. Брат ее владел маленький гостиницей в Ганновере.

Лет тридцать тому назад молоденькую Амалию Фёлькерс отправили из Германии в Нью-Йорк причисывать и обучать немецкому языку, кулинарии и рукоделию пятнадцатилетнюю Клотильду Вандербильт, дочь банкира. С этого началась педагогическая карьера мисс Фёлькерс. В дальнейшем карьере этой суждено было не процветать, а неуклонно катиться вниз и, увь, докатиться до нашего дома в глуши Олонецкой губернии.

С первого дня мисс Фёлькерс была озадачена. Странное русское семейство ссыльных, где дети летом

ходят босиком, где отсутствует отец, полуприсутствует мать, а некий дядя Сережа, господин с апостольской бородой, ведет дом на широкую ногу, балует детей, сорит деньгами, и все это под неустанным присмотром двух урядников, которые дежурят попеременно у окон дома и день и ночь. Как это понимать?

За обедами, которые хороши и обильны, появляются посторонние, совсем уже непонятные люди в блузах, в простых сапогах. Они едят с ножа, размахивают вилками, шумят, спорят, ругают царя и генерала Куропаткина.

Понятно, что брови мисс Фэлькерс недоуменно взлетели в первый же день и так и остались на все время пребывания в нашем доме.

«Chez Вандербильт» — этими двумя словами началось все, что произносила и мыслила она.

— Oh, chez Вандербильт делали так-то!

— У chez Вандербильт этого не могло быть!

— У chez Вандербильт было иначе.

— Oh, chez Вандербильт...

* *

*

Утром мисс Фэлькерс появляется к чаю с лицом сизым от пудры, подпертым крахмальным воротничком, у которого спереди всегда болтается гипюровый язычок.

Сзади бежит и дрожит мелкой дрожью собачонка Крошка, величиной с небольшую крысу. Это даже не собака, а комок собачьих нервов.

— Крошка, шедец! — расправляя на могучей груди салфетку, командует мисс Фэлькерс.

Крошка благоданно садится у ног, на подол, и, устремив трагические глаза на тарелку с поджарен-

ным хлебом, ждет и дрожит. С собачонкой мисс Фэлькерс не расстается. На всех уроках наших присутствует Крошка. Рефлексы памяти — забавная вещь. Заставьте меня сейчас проспрягать французский глагол avoir, и при первых же словах: «que j'eusse, que tu eusses...» — из туманов памяти выплывут два могучих холма — бюст мисс Фэлькерс, с дрожащей собачонкой на нем, под дымкой оренбургского платка. Лиловый Крошкин глазок устремлен на меня укоризненно.

«Когда же ты кончишь? — молит глазок. — Перестань бубнить. Уйди. Оставь нас вдвоем».

— Que nous eussions, que vous eussiez...

Бедная Крошка!

Глазок подернут пленкой изнеможения.

«Нет. Эта девчонка доконает и меня, и хозяйку, — думает Крошка, зарываясь в могучий бюст мисс Фэлькерс. — Лучше заснуть или притвориться, что спишь».

— Chez Вандербильт тоже любили собака, — вздыхает мисс Фэлькерс.

В сумерках я вижу ее у рояля. Она поет: «Вот мочится тройка удаляя...»

Старческий голос дребезжит. Она раскачивается и делает головой — «нет, нет» — от полноты чувств. Крошка дрожит у ее ног, на подоле.

— Chez Вандербильт... — вздыхает мисс Фэлькерс, закрывая рояль, — я пела самому банкиру, и он плякал.

А в общем была она предобрая и преглупая старая неудачница, сентиментальная, как и полагается быть старой деве из Ганновера.

Занятия мы начали с того, что принялись читать вслух все те же мемуары горемычного осла, книгу, над которой плакала в свое время мисс Клотильда Вандербильт.

— Aber, mein Gott!¹ У вас почерк Клотильды! — воскликнула мисс Фёлькерс, поправляя мой первый немецкий диктант.

Я была польщена.

После обеда она усадила нас с сестрой за любимое рукоделие Клотильды, бродери-англез. Мы старательно прорезали дырочки в полотне и обметывали их нитками, точно так, как это делала трудолюбивая дочь банкира. Но брат прозвал наше бродери — «продери», а мать, видя нас изо дня в день с иголками в руках, возмутилась.

— Что за тупоумное занятие! — сказала она дяде Сереже. — Надо прекратить это немецкое усердие. Скажите ей. Пусть лучше бегают. Или книги читают.

«Продери» отставили. А жаль, его любила Клотильда. Эта Клотильда занозила наконец мое воображение. Так уж устроены мы в ранней юности. Живет в нас потребность ненастоящего, мечта о выдуманной жизни. Бывают такие пейзажи на немецких шарманках, помните? Горы в виноградниках, замок на берегу лазурной воды, быть может Дуная. Приторно-красивая, нарядная жизнь. Клотильда была из той жизни. Мне хотелось играть в Клотильду Вандербильт. Мисс Фёлькерс поощряла эти сентиментальные мечты.

Однажды она сказала, поправляя мою косу:

— Завтра сочельник. Перед обедом я сделаю вам прическу Клотильды Вандербильт.

И она ее сделала, да простится ей этот грех!

Она гладко зализала мои волосы щетками, закрутила в крутой крендель и стоймя, наотмашь прищипила его к затылку. В профиль голова моя стала похожа на чайник с грандиозной ручкой.

¹ Но, боже мой! (Нем.)

— У chez Вандербильт эта прическа называлась а-ля грек,— разъяснила мисс Фёлькерс и повела меня к столу.

Нас встретили хохотом. Веселились много и обидно. Вероятно, вид у меня был действительно глупый. Лицо горело, кожа, натянутая на висках, болела. Шпильки кололи затылок. Голову ломило от тяжести сооружения.

Колпинский рабочий ссыльный Егор Иванович спросил нас: не из бани ли мы?

— Надо же так изуродовать девочку,— вздохнула мать.

— Причесали Колотильду на потеху Вандербильду,— сказал брат. Он был мастер на экспромты.

— Не смешно,— ответила я, уже понимая, что это и смешно, и глупо, а главное — обидно.

Добрый дядя Сережа надел пенсне, внимательно оглядел мою голову и пощупал крендель.

— Не знаю, красиво ли это, но, вероятно, очень неудобно,— сказал он,— у тебя не жар ли? Лицо какое красное...

От сочувствия этого мне стало совсем не по себе. Я удерживала слезы. В тот вечер я прокляла Клотильду Вандербильт. Я твердо решила, что мне с нею не по пути.

Часть вторая

Правдивая повесть

...дивная вещь воспоминания, необъяснимая, как печаль. Как будто неслышимые уху вздохи ушедших теней снова проносятся по ту сторону глаз.

*Из письма А. Н. Толстого.
1930 г., июль*

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Поэт Леонид Иванович Андрусон, секретарь «Журнала для всех», встретил меня в кабинете редакции словами:

— Жаль, что опоздали. Знаете, кто сидел у меня сейчас? Молодой поэт Алексей Толстой. Хотел вас познакомить с ним.

— Алексей Толстой? — переспросила я.

— Да, представьте себе, живой граф Алексей Толстой, только что не Константинович.

— Откуда он?

— Хотите спросить, не с того ли света? — рассмеялся Андрусон. — Нет. Родом из Самары, кажется. Студент-технолог. По-моему, одаренный человек. Вот, прочтите.

Он протянул листок со стихами. Стихи были декадентские. Помню, что-то про горбуна и про башню. И горбуны, и башни были в моде тогда у поэтов. Мне стихи не очень понравились. Я сказала, что с такой фамилией можно бы и лучше.

— Действительно, неудобная фамилия для поэта, — согласился Андрусон, — ко многому обязывает.

Этой же зимой (вероятно, в 1906 году) за ужином в ресторане «Вена» мне указали на очень полного студента, затянутого в щегольской мундир, — смотрите, вот Алексей Толстой!

Студент шел под руку с дамой. На голове у дамы был золотой обруч. Они сели за соседний столик, были поглощены друг другом и никого не замечали. Да и я избегала смотреть в их сторону. Первое впечатление разочаровало меня. Студент показался типичным «белоподкладочником», молодое лицо его с бородкой — неинтересным.

«Он действительно не Константинович, этот новый Алексей Толстой», — подумала я, и любопытство мое иссякло.

Выйдя замуж в 1907 году, я вскоре после этого поступила в студию Званцевой, где живопись преподавал Бакст, а рисунок Добужинский.

Моей соседкой по мольберту была Софья Исааковна Дымшиц, как выяснилось позднее, вторая жена Толстого. С первой он только что разошелся, похоронив незадолго перед этим сына Юрия пяти лет, умершего от менингита.

Толстой снимал комнату у Званцевой и жил с Софьей Исааковной тут же при студии. По утрам он часто заходил в мастерскую, иногда совсем по-домашнему, в пижаме. Подолгу стоял за мольбертами, посаывая трубку, задумчиво и непринужденно разглядывающая студисток, холсты и голую натуру.

Как-то раз остановился он и около моего мольберта, постоял за спиной, потом перешел вперед и, вскинув лорнет, загородив собой натурщика, которого я писала, начал в упор меня разглядывать, как предмет неодушевленный. Я почувствовала внезапную враждебность, повернулась спиной и принялась выдавливать тюбики красок на палитру, ожидая, когда он уйдет. Он отошел к окну, где работала Дымшиц, и я слышала, как он спросил негромко:

— Кто это?

В дальнейшем, в течение пяти лет моей жизни в Петербурге, не было ни одного мало-мальски заметного людского сборища, где бы я не встречала Толстого. Я видела его на всех модных премьерях, в концертах, на вечерах и вернисажах.

Мы не были знакомы, и орбиты наши не соприкасались: но почему-то человек этот не был мне безразличен.

Уже появились сборники «За синими реками», «Сорочьи сказки», уже обратил на себя внимание роман «Две жизни», печатавшийся в альманахах «Шиповника».

Толстой входил в моду. Он сильно изменил свою внешность. Длинные волосы на косой пробор, цилиндр, шинель — все было стилизовано под сороковые годы, и правда, в барственной его осанке было что-то несовременное, дагерротипное. Рядом с ним и Софья Исааковна, всегда декольтированная, в хитоновобраз-

ных платьях, в головных повязках, расшитых бисером, выглядела необычно.

В литературных кругах в те годы усиленно и разнообразно развлекались. Дионисийские вечера и пляски, маскарады, любительские спектакли сменяли друг друга. Толстые всюду были на первых местах.

Помню, однажды поэт Сологуб Федор Кузьмич попросил и меня принять участие в очередном развлечении, в своем спектакле «Ночные пляски», режиссировать который согласился В. Э. Мейерхольд.

— Не будьте буржуазкой,— медленно уговаривал Сологуб загробным, глуховатым своим голосом без интонаций,— вам, как и всякой молодой женщине, хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Софьи Исааковны, с Олечки Судейкиной. Они — вакханки. Они пляшут босые. И это прекрасно.

Но раздеться догола все же казалось невероятно глупым. К тому же при одной мысли плясать босиком в огромном и холодном зале Павлова, где дуют сквозняки, как на вокзале, на теле проступала гусиная кожа. Я отказалась от «ночных плясок», чем утвердила свою буржуазность. Ни на какие «действия» меня больше не приглашали.

Запомнилась еще одна встреча с Толстым в белую ночь, на Стрелке.

Его узнать нетрудно мне было
В крылатке черной у парапета.
Я спутника своего спросила:
— Хотите модного видеть поэта?

Цилиндр старинный приподнимая,
Поклонился, как щеголь с дагерротипа.
Мой спутник сказал:
— Не понимаю
Успеха людей подобного типа.

Шли мимо дамы и кавалеры,
Хвалили громко тишину лагуны.
Он смотрел, как в дымке жемчужно-серой
Уходили на север рыбацьи шхуны.

В 1912 году Толстой покинул Петербург и, вернувшись из заграничной поездки, осенью прочно обосновался в Москве. Случилось так, что зиму 1912/13 года я тоже проводила в Москве у своих родителей. Встречи с Толстым возобновились. Тысячи обстоятельств, больших и малых, предвиденных и случайных, накапливаясь в его и моей жизни, сужая круги с какой-то неизбежной последовательностью, подвели нас наконец вплотную друг к другу. Это была зима 1913/14 года, канун и начало войны.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Рождественские дни 1913 года в Москве. Ужин у поэта Балтрушайтиса, рассчитанный на поздних гостей. Собираются часам к двенадцати, после театра или концерта. Я приехала рано, когда в гостиной, кроме хозяев, никого не было. Празднично пахла еще не зажженная елка на рояле.

Юргиса Балтрушайтиса я знала давно. Когда-то в Гранатный переулок его привез к нам Бальмонт и представил как своего друга, поэта и переводчика. Оба они взялись тогда переводить северных авторов для изданий Скимунта. Жена Юргиса, Мария Ивановна Оловянишникова, московская купчиха, дама по-светски любезная и по-светски рассеянная, занимала меня беседой, состоящей главным образом из восклицаний, торопливых вопросов, недослушанных ответов и снова

восклицаний. Обе мы уже начинали уставать от этого, когда в передней раздался наконец звонок, и хозяйка вышла встретить первого гостя. Я услышала голос тенорового, почти женского тембра:

— Сбежал с концерта. Поэма экстаза — это гениально, конечно, но я профан. Меня слухом бог обидел.

Затем голос хозяйки:

— А Софья Исааковна?

— Соня приедет позже.

В гостиную, протирая очки, мелкими шажками вошел Толстой. Он был в смокинге. Хозяйка познакомила нас и оставила одних, вызванная зачем-то в столовую. Толстой сел рядом.

— Я знаю вас по Петербургу, — сказал он.

— Я тоже.

И мы стали разговаривать вполголоса. Он спросил меня о стихах (только что вышла моя книга в издательстве Некрасова), потом спросил почему-то, боюсь ли я смерти. Я сказала, что, вероятно, не боюсь, впрочем не знаю.

— Жизни боитесь?

Я затруднялась ответить.

— Это вы себя боитесь, — сказал он, — знаете, это надо преодолеть.

Я согласилась, что надо.

Стали входить гости. Это было обычное для московских салонов того времени объединение «скорпионов» (как называл их Бунин) с писательской и артистической богемой. Те, кого Бунин окрестил «скорпионами», были прежде всего люди денежные: меценаты, коллекционеры, библиофилы, меломаны или же просто замоскворецкие снобы в безупречных смокингах. Казалось несущественным то, что днем многие из них щелкали на счетах в своих конторах и амбарах

на Ильинке. Это не мешало по вечерам в гостиных слушать стихи о Дионисе и сдержанно вздыхать под прелюды Скрябина.

На этот раз в гостиной у Балтрушайтиса «скорпионы» были представлены немногочисленно, но достаточно веско: Поляковым Сергеем Александровичем (жизненной опорой книгоиздательства «Скорпион»), Высоцким (чайным), владельцем знаменитого сапуновского букета, и коллекционером Гиршманом. Писатели и художники подобраны были из числа тех, кто группировался вокруг издательства «Скорпион». Пожалуй, только один Толстой не был вынянчен в этой колыбели, что, впрочем, нисколько его не стесняло; казалось, он всюду чувствовал себя дома.

Приветствуя знакомых, он не отходил от меня и после долгой паузы спросил вдруг:

— Вы надолго в Москве?

— Нет, скоро возвращаюсь в Петербург.

— Вам надо остаться в Москве.

Я молча посмотрела на него. Смущение его было очевидным, мое — тоже. Он прошел в столовую, откуда через минуту выбежала хозяйка и, хохоча, обняла меня:

— Нет, это бесподобно! Толстой перетасовал все мои карточки на приборах, — и, нагнувшись, шепнула: — И все для того, чтобы сесть с вами рядом.

За ужином Толстой действительно оказался рядом со мной. Он был буйно весел, острил и сидящих напротив просил пить мое здоровье.

— Пей, армянин, — кричал он художнику Сарьяну, — пей за русских женщин!

После ужина он понес свою и мою чашку с кофе в гостиную, за елку. Из одной чашки пил сам, другую держал передо мной на блюде. Помню, мы говорили

о египетских картах Таро, о четырех символах (кубок, меч, огонь и вода), изображенных на них вместо обычных мастей, и о философском значении этих символов.

— Откуда вы знаете это? — спросил он.

Я рассказала о странных своих уроках у Петра Демьяновича Успенского.

— Постойте, — воскликнул Толстой, — это не тот ли Успенский, который про четвертое измерение? Терциум органум?

— Тот самый, — сказала я.

Он поставил обе чашки на рояль и, усадив меня в мягкое кресло, сел рядом. Мы разговаривали долго и так свободно, как будто знали друг друга давным-давно. Многое можно было недоговаривать, так легко доходило от одного к другому то, что хотелось сказать. От зажженной елки в гостиной было золотисто-сумрачно и уютно. Все обходили нас, словно сговорились не мешать, и беседа наша длилась до тех пор, пока подошедшая Софья Исааковна не выразила желания ехать домой. Мы простились. Проходя мимо елки, Толстой снял золоченый орех и сунул его в мою бисерную сумочку.

— Если это положить под подушку, приснится хороший сон.

— Положу, — сказала я.

Меня провожал домой актер Болеславский. Мы сели в сани. Толстой обогнал нас на повороте, приподняв бобровую шапку, и я видела, как привычным жестом он закинул руку за спину Софье Исааковне.

Когда я проснулась на другой день, мне подали пакет, только что принесенный посыльным. Я развернула его. Это была книга Толстого «За синими реками» с надписью на первой странице:

Не робость, нет, но произнестъ
Иное не покорны губы,
Когда такая нежность есть,
Что слово — символ только грубый.

Я долго перечитывала эти четыре строчки, стараясь и боясь их понять, потом нащупала под подушкой золотой орешек — уж не он ли наколдовал все это?

КРУГИ СУЖАЮТСЯ

I

В эту зиму было еще несколько встреч с Толстым. Они начинали меня тревожить, сбивали с толку. Как понимать неосторожные слова, которые произносятся с такой легкостью? Стоит ли всерьез задумываться над ними?

Я не была счастлива с первым мужем. На личной жизни был поставлен крест, как пишется в плохих романах. Я привыкла гостить подолгу в Москве, у родителей; жила в строгости, а охотников разделить мое одиночество умела отвáдить без особых хлопот. Круг моих чувств, засушенных преждевременно, конечно, годился скорее для гербария какого-нибудь, а не для обихода женщины в двадцать шесть лет. Я писала стихи, полегоньку грустила, воспитывала четырехлетнего сына и как-то очень хитро доказывала самой себе непригодность любви вообще; а для душевного равновесия, помню, все пыталась читать Канта, «Критику чистого разума». Много раз начинала я эту почтенную и мудрую книгу, бросала и опять начинала, хватаясь за нее, как за спасательный круг.

Этим летом на даче у родителей, лежа в гамаке под соснами Серебряного Бора, я снова и снова (в ко-

торый уж раз!) припоминала зимние встречи с Толстым. Анализируя каждую из них в отдельности, я пыталась сделать трезвый и беспристрастный вывод: что же это было? Начало любви? Влюбленность? Блажь? Сердце было задето, и я боялась дать ему волю.

Я вспоминала ужин в актерском доме, за которым учредительная комиссия под председательством Толстого решала вопрос: быть или не быть в Москве литературно-художественному подвальчику «Подземная клюква». Единогласно решили, что Москва срочно нуждается в таком подвальчике.

После ужина Толстой провожал меня домой. Усаживаясь в сани, на извозчика, я спросила, действительно ли нужна Москве «Подземная клюква». И кто выдумал ее.

— Я выдумал, — ответил Толстой, — а Москве эта клюква, разумеется, как собаке пятая нога.

— Для чего же вся затея?

— А чтобы с вами встречаться, — сказал он бесечно и обернулся пристегнуть меховую полость за спиной, я же насторожилась, взволнованная, и оба мы некоторое время молчали. Ехали вдоль бульваров. Над заиндевевшими кущами пылали звезды. Толстой показал мне свое любимое созвездие Орион; запрокинув голову, отыскал три звезды на его поясе, сказал:

— Пояс Ориона! Неплохое заглавие для романа. Вам нравится?

— Не знаю, — сказала я, — мне оно ничего не говорит.

— Мне тоже.

Подъезжая к дому, Толстой сказал вдруг без всякой связи с предыдущим:

— Мы с вами должны обязательно поехать в Венецию этим летом. Поедем?

Это было так неожиданно и так смешно: почему вдруг Венеция?

— Поедем! — ответила я весело.

— Я серьезно говорю, — продолжал он, — будет дивно! — И, прощаясь, добавил: — А вообще я вас побаиваюсь, знаете?

— Почему?

— Чувствую себя пошляком в вашем присутствии.

— Вы очень хороший, — сказала я и сама испугалась своего голоса.

Простились наспех. Взяв ключи, я обернулась: за стеклянную дверь Толстой все еще стоял неподвижно.

* *

*

Масляничные дни 1914 года. Маскарад в квартире у Толстых, на Новинском бульваре. Народу столько, что ряженые толпятся в передней, в коридорах и даже на лестничной площадке. Теснота, бестолочь и полная неразбериха придают особую непринужденность маскараднему веселью. Маски сногшибательно эффектны, смелы и разнообразны: купчиха Носова в домино из драгоценных кружев и в треуголке, художники с разрисованными физиономиями, эльфы, гномы, пираты, фараоны, арлекины, скоморохи, клоуны, звездочеты и просто полураздетые люди, без твердых тематических установок. Один только Маринетти, итальянский футурист, гостивший в Москве, для которого, по слухам, весь сыр-бор и загорелся, бродил по залам без маски, в своем натуральном виде: смокинг, глаза маслинами, тараканьи усы — тип таможенного жандарма с итальянской границы.

Среди ряженных много актеров, приехавших со своими «номераами» — балетными, вокальными, эстрадными. Плотная женщина во фраке и в цилиндре, стоя на стуле, поет куплеты:

В доме у Толстого,
Не у Льва — другого,
Нынче праздник и веселье, всё вверх дном!
Всюду песни, пляски,
Все надели маски,

Тили-тили, тили-тили, бом-бом-бом! —

подхватывает хор.

Дама в цилиндре продолжает:

Гостем в залы эти
Входит Маринетти...

и снова

Тили-тили, тили-тили, бом-бом-бом!

* *
*

Хозяин, в лиловом парике, одетый маркизом, разыскал меня в толпе и повел в ванную комнату разливать крушон. На мне был костюм ковбоя, за спиной игрушечное ружье, которым Толстой немедленно принялся размешивать крушон в эмалированной ванне, полной до краев. Он черпал кувшинами, я передавала их за дверь жаждущим. Устав, оба присели на край ванны. Толстой сдвинул парик на затылок, вытер лоб платком, спросил, нравится ли мне весь этот бедлам.

— Очень весело! — сказала я.

Тогда он странным жестом поднял обе руки к горлу, хотел что-то сказать, но не сказал, опустил руки...

В дверях, протягивая пустой кувшин, появился художник Сарьян, одетый бедуином:

— Хозяин, вина!

Зачерпнув, Толстой спросил его строго:

— Собственно говоря, о чем ты думал до сих пор, Мартирос?

— А что такое?

— На свете существуют две сестры. Почему ты не влюблен ни в одну до сих пор? Растяпа!

Прижатый к стене и уже подвыпивший, Мартирос бормотал что-то невнятное в свое оправдание и пятился к двери. Когда он исчез, Толстой попросил меня:

— Сядьте!

Мы снова уселись на край ванны. Кивнув в сторону двери, из-за которой доносились к нам музыка, хохот и писк карнавальных дудок, Толстой сказал:

— В сущности говоря, весь этот галдеж мне, — он провел рукой по горлу, — вот как осточертел! Ночь на Лысой горе. Я потому и засел в ванной.

— Зачем же вы все это устроили?

— Это Сонина затея. Смерть любит рядиться. Слушайте, что я вам скажу сейчас, — продолжал он, понижая вдруг голос, приблизив ко мне бледное лицо, странно серьезное под ворохом лиловых волос, — запомните, близок конец мира. Да, да, да. Ближе, чем мы думаем. Год, два, и все рассыплется прахом. Запомните.

Он был очень серьезен, не пьян, и мне стало вдруг страшновато.

— Неужели вы по-настоящему верите в это? — спросила я.

— Больше чем верю, — знаю.

Сидели молча. За стеной, по коридору, гремели, топтали, били в бубен, гикали, взвизгивали. Какой-то обсыпанный мукой Пьеро с писком вдунул в приоткрытую дверь к нам «тещин язык» и, втянув его обратно, исчез.

— Вот вам и «тили-тили, тили-тили, бом-бом-бом!» — запел вдруг Толстой, передразнивая кого-то, и, увидя в дверях жаждущего, снова зачерпнул в ванне, уже царапая кувшином по дну.

— Подумать только, целую ванну вылакали винища,— покачал он головой,— ну, и могу-уч народ русский! Надо шинок закрывать.— И, взяв меня под руку, сказал решительно: — Хватит. Пойдемте танцевать!

* *
*

Была еще встреча, последняя перед летним разездом. Толстой уезжал в Коктебель, я в Петербург, к мужу (в Венецию никто не собирался).

Мы встретились в «обормотнике»*, на вечере у Макса Волошина, где хозяин читал превосходные стихи, но в таком количестве, что, расходясь, гости ахали, взглянув на часы.

Толстой провожал нас с сестрой по кривым арбатским переулкам. Шли молча. У Толстого было обиженное лицо. Дюна сказала, что такие лица бывают у детей, когда их загоняют спать раньше времени.

— Вот это верно,— засмеялся он,— что толку спать! В гробу наспимся.— И, сразу повеселев, он стал просить: — Давайте еще погуляем, глядите, какая ночь! Ну, сделаем крюк по Мерзляковскому, хотите?

И мы стали плутать втроем по середине мостовой, по светлым от луны и пустынным переулкам.

— Подумать только, сколько времени потеряно зря и безвозвратно,— говорил Толстой, ведя обеих нас под

* Так называлась коммунальная квартира, где жили мать и сын Волошины в окружении артистической богемы.

руки,— милые сестры, разлука — дьявольская вещь! Жить нам на земле не так уж и много положено, а любить и того меньше. Удивительно неумно и расточительно проматывает человек жизнь! Вот вы, например.— Мы все трое остановились посреди улицы, и, обращаясь ко мне, Толстой вдруг горячо воскликнул: — Разве вам надо ехать в Петербург? А вы едете.

— Еду,— ответила я резко,— и разбираться в том, надо ли это, или не надо, могу только я одна.

— Простите,— сказал Толстой,— я хам, конечно.

Сестра дергала меня за рукав, я отстранила ее, и все мы, как по уговору, повернули к дому. У подъезда простились. Толстой поцеловал мне руку.

— Не сердитесь,— сказал он тихо,— будьте счастливы.

Никогда я не плакала так горько, как в эту ночь. Я плакала о «потерянном безвозвратно времени» и о той преграде, которую, как мне казалось, я воздвигла собственными руками между собой и Толстым в эту ночь.

* *
*

Объявление войны застало Толстого в Коктебеле, меня в Серебряном Бору, в обстановке летних военных лагерей, расположенных поблизости. Вот мои первые впечатления войны: молебен перед коленопреклоненными войсками на Хорошевском поле; фанаторийский полк, выступающий одним из первых на фронт; трубы его походного марша, возвещающие разлуку с такой пронзительной печалью, что сжимается сердце; женщины и дети, бегущие рядом по шоссе, стараясь попасть в ногу, не отстать. Но долго ли можно бежать, задыхаясь от слез, да еще с ребенком на руках? Оста-

новились, глядят вослед уходящим будущие вдовы и сироты. Улеглась пыль за последним обозом, замерли, удаляясь, голоса и трубы. Ушли — и назад никто не вернулся. Фанагорийский полк, как мы узнали впоследствии, погиб в боях одним из первых.

Серебряный Бор опустел. Что оставалось делать на даче? Благоденствовать? Это казалось кощунством. Мы переехали в город. Я записалась сестрой в лазарет при Скаковом обществе. Раненых ожидали со дня на день.

Помню, я прилаживала косынку перед зеркалом, когда меня вызвали в переднюю. В дверях стоял Толстой, загорелый, похудевший, сосредоточенно-серьезный.

— Я только что приехал. К вам можно? — спросил он, сбрасывая пальто.

Мы сели на диван в моей комнате.

— Ну вот, — сказал он, — Россия сдвинулась наконец с мертвой точки. Последствия будут грандиозны. Русский народ — это стихия еще не изученная и для Европы загадочная. Играть с ней опасно, и немцы скоро убедятся в этом. А у меня две новости: первая — еду на фронт, корреспондентом от «Русских ведомостей», вторая — разошелся с Софьей Исааковной. По-старому теперь жить нельзя, вы это понимаете?

— Понимаю.

Я не спросила о причине разрыва. Мне казалось тогда, что я знаю причину.

— А вы? — он указал на косынку. — Сестра? Правильно. Всё — войне. Второстепенное — побоку.

В тот же вечер мы долго беседовали, свободно, серьезно и просто, как два друга, проверенные годами, и было в нашем общении что-то новое, лишнее той зимней взволнованности, когда равновесие, казалось,

висело на волоске. Он говорил о войне, о своих планах на будущее, о тревогах за судьбу дочери, о пьесе «Геката», написанной только что в Коктебеле, и доверие, с которым он говорил, сразу очистило мои смятенные чувства и направило их по спокойному, глубокому руслу. Мне было хорошо с ним и чуточку грустно, сама не знаю почему.

Прощаясь, он сказал:

— Нам всем, как и России, предстоят испытания в этой войне. Но вы должны верить в победу так же твердо, как и я. Верите?

— Верю,— сказала я.

Перед отъездом на фронт он зашел еще раз, проститься; я подарила ему на дорогу складную вилочку и ножик, купленные когда-то за границей.

«Ваши вилочки бесконечно пригодились,— писал он с фронта,— ими можно есть все, даже шоколад».

Во второй открытке, на которой стоит почтовый штамп «Киев, 12 сентября», он пишет: «...вернулся в Киев после сверхъестественной поездки. Сижу пока здесь, пишу, вишу на телеграфе и, должно быть, через несколько дней еду в Австрию. Писать приходится на два фронта, в «Русские ведомости» и в «Киевскую мысль», куда идет заваль. Но все же я журналист теперь чистой воды — позор, отчаяние! Пишите мне по адресу: «Киев, Софийская площадь, гостиница «Древняя Русь». Сходите на премьеру «Выстрела» — мне будет приятно...»

* *
*

Существует «закон препятствий», которым пользуются опытные романисты для того, чтобы сюжетная линия в романе не ослабла раньше времени, чтобы на-

пряжение действия в ней нарастало. С этой целью авторы изобретают и безжалостно громоздят на пути у своих героев различные камни преткновения, закручивают всяческие узлы и петли. И в моем романе с Толстым такая петля была.

Из Коктебеля возвратилась в Москву поэтесса Майя Кювилье*. Она пришла ко мне почитать новые стихи, которые писала на французском языке, а главное — посплетничать о коктебельском лете на даче у Волошина.

Мы рассматривали любительские снимки, где отыскивали общих знакомых.

— А это — Алихан с Маргаритой на пляже, узнаете? — сказала Майя, протягивая мне карточку (Алиханом в «обормотнике» называли Толстого).

— Вы знаете, — продолжала она, — я одна из первых обо всем догадалась, и когда Маргарита призналась мне, это не было для меня неожиданным.

— Что неожиданно? — спросила я.

— Как? Вы ничего не знаете? — воскликнула Майя. — А я думала, Алихан сказал вам. Он сделал предложение Маргарите Кандауровой перед самым отъездом из Коктебеля. Вернулись в Москву женихом и невестой.

— В первый раз об этом слышу.

Удар по сердцу был неожиданной, почти физической силы. У меня перехватило дыхание резко и больно, но я сдержала его и, стараясь не выдать своего волнения, продолжала рассматривать коктебельские фотографии, на которых полуголые «обормоты» группировались в живописных позах. Волнение мешало мне разглядеть среди них тоненькую фигурку невесты

* Впоследствии жена Ромена Роллана.

Толстого. Но я помнила ее хорошо еще по зимнему маскараду на Новинском бульваре, когда она с большим мячом в руках прыгала на пуантах, изображая заводную куклу. Красива? Нет, скорее миловидна. Полудетское, еще не оформленное личико с капризно выпяченной нижней губкой. Красивы были только глаза, большие, синие. Про Кандаурову уже писали в газетах, называли ее одаренной, старательной танцовщицей, несомненно — солисткой в будущем.

С трудом я перевела дыхание. Так вот как разгадались все головоломные загадки прошлой зимы! Что было? В сущности говоря, ничего не было. Несколько незначительных фраз, обычных при флирте, и только. Вольно же было принимать их всерьез! О, как стыдно, как по-телячьи глупо, беспричинно распрыгалось сердце и как больно шлепнулось! Так ему и надо.

Я отошла к туалету, запрокинула флакон с духами, прижав его к ладони, тронула виски и за ушами, поправила волосы, пуховкой обвела лицо, спросила гостью, не хочет ли чаю. Все это я делала рассчитанно, не спеша, чтобы привести себя в состояние равновесия. Потом, забравшись в самый темный уголок на диване, чтобы слушать французские стихи (и не слыша ни одной строчки из них), я продолжала мысленно укрощать бурю, сокрытую в самой себе.

Самое трудное предстояло впереди. Исправить постыдную ошибку, одернуть сердце, взять его в узду. Главное, чтобы сам Толстой ничего не знал и никогда бы не узнал. Для этого надо: по приезде спокойно встретить, поздравить, упрекнуть за скрытность, сохранить простоту приятельского тона.

«Но почему же, почему же все-таки,— спрашивала я себя,— сам он не сказал мне о Маргарите ни слова? Ведь мы беседовали так откровенно в последний раз».

(Вспоминать об этой беседе было сейчас слишком мучительно, я даже зажмурилась, чтобы не вспоминать.)

Проводив Майю, я поехала к одиннадцати часам в лазарет, на ночное дежурство.

* *

*

Эта ночь в лазарете была особенно трудной и беспокойной. Накануне привезли тяжело раненных и многих уложили на койки не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы дожидаться смертного часа. Список таких безнадежных я нашла на столе в дежурной комнате. Две фамилии из этого списка были уже вычеркнуты карандашом.

Я вымыла руки, надела халат, затянула потуже косынку и пошла по палатам.

Мало кто спал в эту ночь. Большинство или тихо стонало, или металось в жару, некоторые лежали неподвижно, прислушиваясь к своей боли, кое-кто бредил.

Что могла сделать я, ночная сестра, для облегчения этих мук? Дать попить, перевернуть на другой бок, поправить подушку или пузырь со льдом, просто присесть рядом, взять горячую руку в прохладные ладони, поддержать ее молча? Все эти жесты милосердия были так незначительны, так ничтожны. И, как всегда, был ими утешен в первую очередь тот, кто утешал, а не тот, кто в утешении нуждался.

Обойдя палату со вновь поступившими, я прошла проведать своих старых знакомых и среди них раненного в ногу Егора Колесникова. Развороченная снарядом нога его лежала высоко на подушке, вся от ступни до колена в тугом коробе гипса. Один только большой

палец, одеревенелый и темный, был свободен от повязки и торчал, как подпиленный сучок.

Увидя меня, Колесников тихо просиял, шевельнулся и сразу болезненно сморщился.

— Болит, Егорушка? — спросила я.

— Покачай, бога ради, — попросил он, — мочи нет.

Я покачала палец, как делала много раз раньше, видимо это давало облегчение всей ноге, затекшей от неподвижной повязки. Блаженная улыбка застыла у него на лице, он заснул. Я вышла в коридор.

Из палаты безнадежных, напротив, уже выносили кого-то, покрытого простыней. Сзади шла санитарка с тюфяком, перекинутым через руку. Другая гремела ведром, подмывая пол вокруг опустевшей койки. Грубой простотой сопровождалось таинство смерти.

— Вы дежурная сестра? — спросил меня доктор, вытиравший полотенцем руки в коридоре.

— Я.

— Вскипятите шприц. — Чуть понизив голос: — Вычеркните в списке Аввакумова Тимофея.

* *

*

Когда утром я вернулась домой, на столе в моей комнате лежало письмо без марки, что означало с фронта.

Толстой писал: «...сизу на маленькой станции, ожидаю киевского поезда; четыре дня мы скакали в телеге по лесам и болотам, по краю, только что опустошенному австрийцами. Мы кочевали в разрушенных городах, в сожженных деревнях, среди голых полей, уставленных маленькими, только что связанными крестами. В лесах до сих пор ловят одичавших австрийцев. Повсюду разбитые артиллерийские пар-

ки, опрокинутые повозки. Вез вам осколки от бризантных снарядов, но ящик уложил их на дно телеги и они провалились, должно быть. Привезу в другой раз. Вилочки были бы полезны, если бы мы доставали еду, но мы питались странно думать чем. Впечатление — громадно. Целую вашу руку, горячий привет вашим.
А. Т.♦.

Долго я стояла посреди комнаты с этим письмом в руках.

«Спокойно, спокойно. Ничего не случилось, — убеждала я себя, складывая вчетверо хрустящий листок бумаги, — письмо как письмо, простое, приятельское, с перечнем дорожных впечатлений. «Вез вам осколки бризантных снарядов»... Ну, что ж! Обычная любезность, быть может просто благодарность за складную вилочку. Не надо ничего преувеличивать».

Я вздохнула, не перечитав сунула письмо обратно в конверт и присоединила его к двум открыткам у себя в столе, полученным раньше.

* *
*

Раненых в Москву прибывало с каждым днем все больше. Мясорубка войны работала ровно, без перебоев, с механической жестокостью перемалывая человеческие жизни, отбрасывая в сторону брак. Этим браком были люди, перемолотые не до конца, не насмерть. Их-то и подбирали лазареты.

Утром, после одного из ночных дежурств, швейцар позвал меня на лестницу:

- Вас спрашивают.
- Кто?
- Не то военный, не то нет.

Я вышла в вестибюль. Между вешалками стоял Толстой.

— Я только что с поезда,— сказал он. Поцеловал руку.

Я подумала: «Странно! Почему же ко мне, а не к ней?» — спросила:

— Как вы разыскали меня?

— Очень просто. С вокзала на Кривоарбатский, оставил вещи и к вам на Хлебный. А с Хлебного — сюда.

— Подождите минутку, я сейчас буду свободна.

Я сдала дежурство дневной сестре, и мы вышли вместе.

Утро было пасмурное и по-осеннему прохладное. То ли от бессонной ночи, то ли от волнения неожиданной встречи меня чуть-чуть знобило в легком пальто. На Толстом же была какая-то фантастическая комбинация из трех видов одежды — военной, спортивной и штатской.

— Что это за костюм? — спросила я.

— Костюм для похищения женщин.

— И много вы их похитили?

— Начинаю с вас,— он взял меня под руку,— похищаю и веду в «Стрельну» завтракать. Вы, верно, натошак? Я тоже. Горячего кофейку бы, а? Хотите?

— Хочу, только очень, очень горячего,— согласилась я, чувствуя себя почти счастливой, оттого что мне с ним так вольно, так просто и легко. «А как же Маргарита?» — шевельнулось в мыслях, но я отмахнулась.

«Стрельна» была в двух шагах (перейти только дорогу), на Петербургском шоссе. Высокий стеклянный купол покрывал зимний сад ресторана. В утренний час здесь было пусто и тихо: слышно только, как из

фонтанчика под пальмами капает вода в бассейн. Земляной пол посыпан песком. Теплый оранжерейный воздух полон душистых испарений от цветов и растений в кадках. Мы сели за столик под пальмой. Подошел смуглый рябой человек, весь в белом, поклонился.

— Слушай, Ахмет,— сказал Толстой,— что у тебя там есть хорошего? Прежде всего надо согреться,— он многозначительно покрутил пальцами,— а затем — кофейку.

Ахмет, все поняв, скрылся где-то за кустами, и мы остались одни.

Толстой вынул из бокового кармана спичечную коробочку, положил ее на стол передо мной.

— Это вам.

— Что это такое?

— Обещанное.

Я открыла коробочку. Она была полна острых, величиной с наперсток, кусочков стали.

— Осколки снаряда,— сказала я,— спасибо! Говорят, это приносит счастье?

— Ну, знаете,— засмеялся он,— если такое счастье влетит в комнату, благодарю покорно!

Я спрятала коробочку в портфель, сказала:

— Теперь рассказывайте, что видели в Галиции?

— А в Галиции происходят невероятные вещи,— оживился Толстой и начал рассказывать мне о фронте с увлечением. Слушая его, я совсем позабыла о Маргарите, и только когда Ахмет налил нам в рюмки и оба мы подняли их, я спросила:

— Вас можно поздравить?

— С чем?

— Говорят, вы женитесь?

— Ах, вам уже сообщи-и-ли! — протянул он как-

то пренебрежительно, словно вместо «сообщили» хотел сказать «насплетничали». — Маргарита Кандаурова моя невеста, это верно. А поздравлять, пожалуй, преждевременно.

После этого мы долго молчали. Я слушала, как фонтанчик ронял слезы в бассейн — кап-кап-кап. Толстой дымил трубкой, задумчиво прищурясь глядел мимо меня в сторону. Потом сказал, вздохнув:

— Все это совсем не так просто, уверяю вас. Я даже не знаю, как вам объяснить это. Маргарита — не человек. Цветок. Лунное наваждение. А ведь я-то живой! И как все это уложить в форму брака, мне до сих пор неясно.

Его недоуменно расширенные глаза остановились на мне, словно ожидая ответа. Но чтобы ответить, надо было сделать над собой усилие, такая внезапная усталость и безразличие овладели мною. И было все равно, замечает ли Толстой эту перемену во мне, нет ли.

Еле слышно, как будто не ему говорила, а самой себе, я сказала:

— Одного не могу понять, почему вы здесь, а не там?

— У Маргариты репетиции по утрам, — словно оправдываясь, объяснил он, — вечером танцует. Я к ней перед спектаклем заеду, непременно.

Это уже было просто смешно.

— С вами можно окончательно запутаться, — сказала я, — не человек вы, а сплошной ребус!

Эта аттестация ему понравилась, и мы оба повеселели.

— Я тоже «штучка с ручкой», как и вы, — засмеялся он. (Штучка с ручкой — было мое прозвище в «обормотнике»).

— Надо вас познакомить с Маргаритой,— решил Толстой,— я привезу ее к вам, можно?

— Зачем? — удивилась я.— Портрета Лажечникова у меня нет, чтобы благословить вас. Впрочем, могу,— Шопенгауэром, он как раз висит у отца в кабинете.

Ирония была, конечно, жестом самозащиты, и довольно косолапым. Но вряд ли Толстой это понял. Он молчал, насупясь. Лицо было обиженное. Мне стало жаль его. Я положила руку ему на рукав:

— Привозите Маргариту, я буду рада познакомиться. Я от всего сердца хочу, чтобы вы были счастливы.

Он поглядел на меня непонятно. В выражении лица была и признательность, и укор,— два чувства, казалось бы, несовместимые.

«Ничего не понимаю»,— подумала я.

Но это было не совсем верно. Я начинала понимать. Что-то незрячее было в нем, как у большого щенка.

И чувство старшего к младшему (взять за руку, вести), чувство, так похожее на материнское, впервые шевельнулось во мне к этому человеку.

Провожая меня домой, Толстой спросил:

— Хотите, поедem завтра смотреть пленных австрийцев? Их целый эшелон стоит на запасных путях у Киевского вокзала. Мне это необходимо для фельетона в «Русские ведомости».

Я согласилась.

— Будьте завтра дома в шесть часов,— сказал он,— я заеду за вами.

На другой день Толстой не заехал за мной ни в шесть, ни в семь,— я ждала напрасно.

Вернулся из редакции отец и, садясь обедать, сказал:

— Сейчас видел твоего Толстого, катил по Арбату на рысаке, с какой-то дамой.

Сердце ответило на это легким толчком. Оно было уже тренировано и на срывах и на взлетах: как говорится, видало виды. Я же развернула вечернюю газету, пробежала по ней глазами и только потом сказала спокойно:

— Во-первых, почему «твой Толстой»? Он такой же мой, как и твой. А во-вторых, дама эта — его невеста, балерина Кандаурова. (Я ни минуты не сомневалась, что это была именно она.) Ты разве не знаешь, что Толстой женится?

— Нет. Вот расторопный человек! — дивился отец. — Не успел разойтись, снова женится. Ну, давай бог! А я, грешным делом, думал, что он за тобой приударяет.

Я ничего не ответила. Ушла к себе. «Приударяет!» Вот именно, этим омерзительным глаголом определено все.

Я сняла нарядный костюм, блузку, надела халат и села писать письмо в Петербург.

«Не находишь ли ты, — писала я мужу, — что мы с сыном загостились в Москве? Если можно найти для меня работу в Петербурге в каком-нибудь лазарете Красного Креста, я бы немедленно вернулась. Не все ли равно, где работать? Люди и страдания их всюду одни и те же. А в Москве меня ничто не держит...»

II

Время шло. Визиты Толстого стали почти ежедневными. Уже ничего нельзя было ни понять, ни объяс-

нить, да я и не пыталась это делать. Не все ли равно, думала я, каким словом определить то, что не поддается определению. И почему все отношения на свете должны упираться непременно в любовь?

В дни, свободные от ночных дежурств, установился такой обычай: с двенадцати до пяти Толстой работал (он писал тогда пьесу «День битвы»), вечер проводил в Большом театре, где танцевала Кандаурова, а после спектакля, отвезя ее домой, ехал на Хлебный.

Мы с сестрой уже привыкли к тому, что ночью, во втором часу, когда в доме уже все спали, раздавался звонок.

— Кто? — спрашивала Дюна через цепочку, и Толстой низким басом отвечал неизменно одно и то же:

— Ночная бабочка!

Это звучало как пароль. Дюна впускала, и, если Толстой был в хорошем настроении, то, не снимая шубы, сразу делал «беспечное» лицо, какое должно быть у бабочки, и начинал кружить по комнате, взмахивая руками, — изображал полет. А Дюна хватала игрушечный сачок моего сына и принималась ловить бабочку, стараясь колпачком из розовой марли накрыть Толстому голову. Это было смешно, мы дурачились и хохотали, как дети, зажимая себе рот, чтобы не разбудить спящих.

Потом пили ночной чай у меня в комнате. Сестра уходила спать, а у нас с Толстым начинались бесконечные разговоры. Особенно интересными и содержательными они становились в передней. Здесь Толстой, уже в шубе и шапке, надолго прирастал к деревянному косяку, договаривая самое важное, без чего, казалось, никак нельзя разойтись. Мы говорили об искусстве, о творчестве, о любви, о смерти, о России, о вой-

не; говорили о себе и о своем прошлом. Ночные беседы эти скоро стали потребностью для обоих, и все же ни мне, ни ему не давали полного удовлетворения. Наоборот, после них еще недоуменнее металось сердце, пугаясь самого себя, а скрытый магнит отношений наших вытягивал иной раз на поверхность такие настроения и чувства, которые обоим нам надлежало прятать — обиду, раздражение, досаду.

Помню, однажды вечером, подбрасывая полено в мою печь, Толстой занозил себе палец. Я вынула занозу пинцетом, прижгла йодом. Он сказал:

— Буду теперь каждый день сажать себе занозы. Уж очень хорошо вы их вынимаете, так же легко и не больно, как делала покойная мать.

Я промолчала, ваткой, намоченной в одеколоне, вытерла пинцет, потом пальцы.

Толстой продолжал:

— В одну из наших встреч, прошлой зимой, вы как-то раз сказали, что для женщины любить — это значит прежде всего оберегать, охранять. Это вы правильно сказали.

В тот вечер состояние «стиснутых зубов» было особенно сильно во мне, и разговоры о любви были некстати.

— Охота вам вспоминать афоризмы из прошлогоднего флирта, — сказала я жестко.

— Флирта? — переспросил Толстой. — Вы называете флиртом прошлогодние наши встречи?

— А как же назвать их иначе?

— Не знаю, — сказал он, — впрочем, — он посмотрел на меня, неприязненно прищурясь, — для вас они, пожалуй, действительно были флиртом.

— А для вас?

— Ну, это уж мое дело,— оборвал он разговор и, насупись, принялся набивать трубку.

Это было слишком. Такой несправедливости нельзя было вынести.

— Вы страус,— воскликнула я с отчаянием,— боже мой, как я устала откапывать вашу голову, зарытую в песок!

— А вы! — подхватил он.— Вы-то сами разве не страус? И притом дьявольски хитрый!

— Почему хитрый?

— Потому что оглядываетесь. Одним глазком на опасность — и опять в песок, на опасность — и опять в песок.

Он это изобразил так потешно, что нельзя было не рассмеяться. Но я тут же подумала: «Осторожно! Он, оказывается, не так слеп и разбирается во мне неплохо».

В другой раз Толстой явился на Хлебный позднее обычного, чуть ли не в три часа ночи. Я была уже в халате, собиралась лечь.

Он извинился, рассказал, что выступал только что в особняке Рябушинских на вечере с благотворительной целью в пользу вдов и сирот войны: читал два акта из пьесы «День битвы». Маргарита танцевала, и оба имели успех.

— Голова трещит,— сказал он,— нет ли у вас цитрованиля?

Я дала порошок, спросила, не хочет ли чаю.

— Нет, ничего не надо. Только посижу около вас минут десять. Вы знаете, у меня бессонница, раньше утра не засыпаю.

Я промолчала, подумала: так! Значит, я — средство от бессонницы. И немедленно скрытый магнит вытянул на поверхность какие-то новые, нравоучитель-

ные интонации. Нудным, для самой себя посторонним голосом, я принялась убеждать его, что оба мы живем неправильно, ночь превращаем в день.

— Время надо передвинуть на два часа назад,— поучала я,— начинать работать не в двенадцать, а в десять утра. А против бессонницы есть два верных средства, первое — читать в постели «Илиаду» Гомера (гекзаметр укачивает, как люлька)— и второе: на пять минут перед сном опускать ноги в таз с холодной водой.

— Сам черт во мне не разберется! — махнул он рукой и вышел за дверь.

Я же долго стояла перед зеркалом, сразу присмиревшая.

«Пора все это кончать», — твердо решила я, ложась в постель, и тут же вспомнила, что обещала и сыну и мужу рождественскую елку зажечь в Петербурге, у себя дома, на Спасской улице.

* *
*

Чтобы врага победить, надо не только знать его, надо его угадывать, ибо чаще всего он нападает замаскированный. Я это говорю, припоминая свою борьбу с нарождавшимся чувством, прикрывавшим себя разнообразными масками. Чтобы убить его, я била, зажмурясь от страха, мимо, не по тому месту. Все во мне было в синяках от этих ушибов, а чувство оставалось невредимым. И неизвестно, чем бы кончилось это самоистязание, если бы помощь не пришла со стороны.

Я заболела. Тяжелая форма гриппа осложнилась воспалением ушей. Был момент, когда родители мои перепугались и разговор шел об операции. Я была без сознания, бредила. Помню, в бреду я все шла по како-

му-то бесконечному пыльно-желтому коридору и потолок его, словно медленно пульсируя, то опускался мне на темя, то опять уплывал вверх. Это было мучительно и тошнотворно, как морская болезнь.

Сестра моя, Дюна, ухаживая за мной, сидела рядом, не выпуская руки, и, быть может, ей я обязана выздоровлением.

Оно наступило наконец. Вернулось сознание, утихли боли. Блаженное бессилие было светлым, каким-то от всего отрешенным, умиротворенным. Помню, утром сестра внесла и поставила у изголовья цветущее белое деревцо. Я только приподняла брови изумленно, не было силы спросить.

— Это японская вишня,— сказал Дюна,— Толстой прислал. Он все заходит, справляется.

Я закрыла глаза. Ни тревоги, ни радости, ни боли не вызвало это имя. «Так смотрят души с высоты на ими сброшенное тело».

По вечерам я любила лежать в тишине, неподвижно. В комнате был полумрак. Только на паркете лежал светлый круг от лампы под низким абажуром. Каждая трещинка, каждое пятнышко, каждая соринка в этом кругу были четко освещены и ждали моего внимания. И я подолгу разглядывала их почти без мыслей.

Тогда, сбитый с толку этой тишиной, выбегал из-за печки мышонок и, попадая в круг, принимался торопливо подбирать крошки печенья на полу. Потом, покружась, словно вальсируя, подхватывал на дорогу что-нибудь покрупнее и снова исчезал за печкой. Так повторялось каждый вечер.

Но по мере того как восстанавливались силы, изменялось все и во мне и вокруг меня. Очертания мира становились грубее, краски — ярче. По утрам в комна-

ту вбегал пятилетний сын. Его веселая мордочка наполняла сердце знакомым живым теплом, а рисунки, которые он дарил мне с надписью «мами штоп выставырыла», — смешили и трогали.

Наконец сестра в первый раз поднесла к лицу моему зеркало.

— Как находишь? — И чтобы не слишком испугать, пошутила предупредительно: — Все лицо глаза съели.

Действительно, лицо казалось незначительным придатком к ним, так похудела я за это время. Но все же зеркало не испугало меня, наоборот, прикосновение к нему было магическим для моей женской природы. Захотелось обтереться одеколоном с ног до головы, поновому уложить волосы, тронуть губы французским карандашиком, припудриться, словом, «почистить перышки», как это называлось у нас с сестрой.

Однажды, в сумерках, сестра вошла в комнату.

— Ты хочешь видеть Толстого? — спросила она, зажигая на столике лампу. — Он здесь, в передней.

Толстой вошел робко, как входят к больным, словно стесняясь своего здоровья, своего благополучия, своих размеров. Он взял мою руку и долго не выпускал ее, держал бережно.

— Вам лучше? — спросил. — Мне вас плохо видно. — И, вглядываясь в мое лицо, наклонился, сказал: — Похудели, похорошели.

Я прижала палец к губам, шепнула:

— Сидите тихо. Сейчас он прибежит, — и глазами указала на освещенный круг на паркете.

Мы ожидали минуты две неподвижно, затаив дыхание, покуда выбежал из-за печки мой вечерний визитер. Кусок печенья уже лежал, приготовленный для него, на полу. Потрогав его лапками, обнюхав со всех

сторон, он принялся вальсировать так уморительно, что Толстой ахнул, не удержавшись, и сразу прикрыл рукой рот. Мышонка как ветром сдуло, исчез.

— Вот так каждый вечер, — сказала я.

Разговаривать мы продолжали почему-то шепотом, и о чем разговаривали в тот вечер — не стоит писать. Не терпят иные слова прикосновения, даже пером, а бумага — равнодушна и слишком шершава для них.

* *
*

В тот год зима была ранняя и очень снежная. Уже к началу декабря от высоких сугробов, лежащих стеною вдоль тротуаров, переулки стали похожи на белые коридоры, местами такие узкие, что встречным саням трудно было разъехаться. Деревья на бульварах стояли в белых шапках, и все вокруг было чистое, затихшее, словно праздничное.

Я уже начала выходить. Силы прибывали. Возобновленный процесс жизни доставлял мне наслаждение: ходить, двигаться, видеть, слушать, говорить, смеяться, наконец — просто дышать, а самое главное, и днем и ночью таить в себе ликование, торжествующую уверенность в том, что я — любима.

Об этом еще не было сказано ни слова, но уверенность крепла во мне с каждым днем. Она родилась в тот вечер, когда в светлом кругу на паркете вальсировал мышонок и Толстой следил за ним с изумленной нежностью в глазах.

Мы продолжали встречаться так же часто, но теперь все было по-другому. Толстой был молчалив, задумчив, сосредоточен. Впервые, в измененном, похудевшем лице его, в глазах, подолгу на меня устремлен-

ных, я видела страдание. Мне оно было как вода жаждущему. Не inferнальное желание мучить в любви владело мной. Нет. Но, видимо, я слишком долго сомневалась, чтобы не поддаться искушению Фомы неверного — перстом коснуться любовной раны, дабы лишней раз убедиться в ней. И при виде его страданий все во мне расцветало в новой уверенности, все пело беззвучно: он любит меня! Он любит меня!

Я не задумывалась о том, как примирить это с моим скорым отъездом в Петербург. Как совместить это с приездом в Москву мужа, о котором он писал? Я чувствовала только одно: круги сужаются и никуда нам друг от друга не уйти.

Но прежде чем привести наш роман к развязке, судьбе угодно было затянуть в нем еще одну петлю. Этой петлей был приезд мужа.

Накануне вечером мы с Дюной сидели в зале Благородного собрания на одном из благотворительных концертов. В антракте кто-то за креслом наклонился к моему плечу, шепнул: «Здравствуйте!»

Я оглянулась. В проходе за спиной моей стоял Толстой.

— Откуда вы? — удивилась я.

— Был на Хлебном. Там сказали, где вас найти, и просили передать это.

Он протянул мне телеграмму. «Встречай завтра утром скорым», — телеграфировал муж. Я показала телеграмму сестре, потом Толстому.

— Так, — сказал он, прочитав, и сразу замолк.

Сестра отошла в сторону, и только тогда, обратясь ко мне, он спросил тихо:

— Что же теперь будет?

— Не знаю, — ответила я, — надо возвращаться в Петербург.

— Чепуха! — воскликнул он. — Разве вы сами не понимаете, что это невозможно?

Не знаю, какие противоречивые чувства заставили меня в эту минуту вспомнить о Маргарите. Я ответила:

— Не забывайте, что вы не один, с вами остается ваша невеста.

Он посмотрел на меня пристально, испытующе, словно хотел проверить, всерьез ли я говорю это, и, убедившись, что насмешки нет, сказал:

— Сейчас уже поздно вспоминать о Маргарите, и вы это прекрасно знаете сами. — Помолчав, он добавил с горечью: — Все же я думал, что вы и умнее, и честнее в отношении меня.

— Я вас не понимаю.

— Меня понять нетрудно, — сказал он, — но не стоит говорить об этом. Давайте лучше Исайку слушать.

Исайя Добровейн, модный тогда пианист, уже сел за рояль на эстраде.

Домой после концерта возвращались пешком. Толстой провожал нас и, доведя до подъезда, хотел, как обычно, подняться наверх, посидеть за ночным чаем. Но я стала прощаться, сказала: мне завтра очень рано вставать, ехать на вокзал.

— Ну что ж, — вздохнул Толстой, — лягу в сугроб и буду лежать до утра. — И, раскинув руки, он плашмя повалился на спину в высокий сугроб у подъезда.

Мы постояли над ним, посмеялись, потом я сказала:

— Бросьте дурачиться, простудитесь, — и вместе с сестрой стала подниматься по лестнице.

Пока я снимала ботинки в передней, Дюна не раздеваясь подбежала к окну и высунулась в форточку.

— Ну что, лежит? — спросила я.

— Лежит! — крикнула Дюна и, обернувшись, добавила: — Ну, что с ним делать? Позвать?

— Зови.

Дюна свистнула в форточку, крикнула:

— Чайник на столе. Поднимайтесь!

Но Толстой не поднялся.

Прильнув к оконному стеклу, надышав и протерев кружок в морозных его узорах, я видела, как фигура Толстого медленно удалялась в лунном свете по узкому белому коридору переулка, пока не скрылась за поворотом.

«Что же теперь будет с нами?» — подумала я и долго не могла отойти от окна, словно там, за ним, оставила самое дорогое.

* *
*

Чтобы приехать в Москву повидать меня и сына, мужу моему с трудом удалось выкроить несколько дней между двумя процессами. Первый он только что блестяще закончил, второй должен был начаться через неделю. Дела мужа были хороши, и это отражалось и на внешнем виде его, и на настроении. Он был оживлен, ласков и внимателен. Привез подарки. Сыну заграничное механó¹ (модную в то время новинку), мне — флакон любимых духов и кружевные воротнички от Мерсеру.

— Остальные подарки ждут Таточку дома, — многозначительно улыбнулся он, говоря обо мне, как всегда, в третьем лице.

Мекано разложили на полу в детской, и оба, отец и сын, погрузились в него с головой.

¹ М е к а н ó — конструктор (франц.).

После завтрака сына отправили гулять. Оставшись наедине со мной, муж вынул из чемодана дневник, который вел в мое отсутствие, и, по обычаю, установившемуся при встречах, усадил меня за стол — читать его.

Это была очень толстая сафьяновая книга с металлической застежкой, ключик висел тут же, на шнурке.

Почерк у мужа красивый, ровный, слог — литературный. Много цитат из Ницше, Шопенгауэра, Стриндберга, Фрейда и даже Вассермана подкрепляли текст. Из этого дневника мне надлежало узнать о всех неразрешимых сложностях наших взаимоотношений с мужем и о трагических противоречиях брака вообще.

Я покорно уселась за книгу, читала долго и терпеливо, но мысли и чувства мои были далеко.

«Показывать дневник противоестественно, — думала я, пробегая страницу за страницей, — в этом есть даже что-то бесстыдное».

Дочитав до конца, я закрыла книгу, и сразу же сидящий напротив муж спросил:

— Ну, что ты скажешь?

Но вместо того чтобы ответить ему, я в свою очередь спросила:

— Скажи, пожалуйста, зачем ты даешь мне читать это?

— То есть как зачем? Я тебя не понимаю.

— Человек в дневнике должен быть наедине с самим собой, — продолжала я, — иначе теряется смысл дневника.

— Да, но в данном случае, — возразил он, — это не просто дневник. Это, кроме того, единственный способ общения с тобой.

— Почему единственный? — спросила я. — Не проще ли говорить друг с другом?

— Ну, знаешь, есть вещи, о которых легче писать, чем говорить.

Он был слегка задет, обижен. Щелкнув ключиком, запер дневник, сунул его в замшевый чехол, предохраняющий переплет от царапин, сказал:

— Очень жаль, что это не нашло в тебе отклика.

Но первое недоразумение длилось недолго. Он стал рассказывать мне о подробностях политического процесса, только что выигранного в Кронштадте. Это было по-настоящему интересно; речь его, которую он прочел мне, действительно была и умна, и блестяща, а главное, она спасла подсудимого от каторги.

— Какой ты умница! — сказала я, растроганная, и поцеловала его. Равновесие между нами восстановилось сразу.

— Ты не можешь себе представить, как я устал, — пожаловался он, — предвкушаю трехдневный кейф!

И, устраиваясь на тахте в моей комнате, он стал аккуратно раскладывать вокруг себя все предметы, необходимые, видимо, для кейфа: две неразрезанные книги, коробку египетских папирос, пепельницу, спички, разрезальный нож, стакан с боржомом. Я покрыла его пледом.

Закурив, благодарно улыбнувшись мне, он принялся резать страницы нового романа; я же вышла в столовую, чтобы немного побыть одной.

Неужели придется все сказать ему? Я чувствовала себя так, словно занесла нож над усталым человеком, отдыхающим у меня на плече. Жестокость неизбежного удара пугала меня, я сомневалась, хватит ли сил его нанести.

Была даже враждебность какая-то к Толстому, в эту минуту участнику предательства, — таким вдруг представилось мне мое новое чувство.

В столовую в это время вбежала Дюна в рабочем халате:

— Ты знаешь, кто у меня в мастерской?

— Кто?

— Толстой с Маргаритой. Он хочет, чтобы я лепила ее. Ты не зайдешь?

Я не ответила, вместо этого сказала:

— Надо в таком случае распорядиться о чае,— и, позвонив на кухню, долго стояла растерянная, не ображая сразу, как объединить вокруг самовара странную комбинацию людей, собравшихся сегодня в доме.

Но за чаем было все на редкость благополучно, даже слишком оживленно, благодаря возбужденному состоянию Толстого. Он говорил много, пожалуй — один за всех: неумеренно острил, сыпал анекдотами и даже изображал какие-то эпизоды в лицах.

Муж, вышедший к чаю все с тем же романом под мышкой, с коробкой папирос, словом, со всеми атрибутами домашнего кейфа, был холодно-вежлив с гостями и разглядывал Толстого со спокойным любопытством, как разглядывают в микроскоп новый вид суетливой инфузории. Эту позицию превосходства он сохранял все время.

Маргарита сидела напротив меня. Скромная, осторожная, она вздрагивала от шумных возгласов Толстого и при каждом новом анекдоте поднимала на него умоляющие глаза, но он не замечал этого.

Я оценивала ее по-женски: слишком юна, чтобы казаться элегантною. И волосы на пробор, чересчур старательно, по-парикмахерски, уложенные фестонами, и ниточка искусственного жемчуга на худеньких ключицах, а главное, напряженное выражение полудетского личика: боже упаси, не уронить собственного

достоинства! — все это было скорее трогательно, чем опасно. Нет, никакая не соперница! И я поняла, что эта «очная ставка» четырех действующих лиц была страшна не для меня.

Тревожил меня один Толстой. Он имел вид человека, выпустившего руль управления. Какая-то посторонняя сила, казалось, несла его, и возбуждение его было невеселое. Неожиданно он предложил:

— Едем кататься на голубках!*

— Разве еще существуют голубки в Москве? — спросил муж. — Не спугнула их война?

— Нет. У Яра их и теперь сколько угодно, — ответил Толстой, — можно по телефону вызвать, хотите?

Но Маргарита от голубков категорически отказалась, муж мой тоже уклонился от них. Желания Дюны следовали за моими, у меня же в тот день их не было — я не принадлежала себе.

Не встретив ни в ком поддержки, Толстой сразу умолк, и за столом, как говорится, «пролетел тихий ангел».

Дюна вполголоса сговаривалась с Маргаритой о следующем сеансе. Толстой сказал:

— Начало очень удачно, и сходство уже намечается. Вы не видели бюста? — обратился он ко мне.

— Нет.

— Пойдемте, я покажу вам.

Мы пошли в мастерскую. Дело было не в бюсте, конечно, и Толстой даже не снял мокрого холста, покрывавшего глину, только похлопал по нем рукой, сказал:

* Голубками назывались в Москве парные лихачи на расписных санках.

— Вот что я придумал: сейчас провожу Маргариту, возьму голубка у Яра и заеду за вами. Поедем вдвоем?

— Вы с ума сошли!

— Верно. Сошел,— согласился он,— но это не важно. Поедем? Прошу вас. Как дивно будет! До Серебряного Бора и обратно. Ну пожалуйста...

— Не могу,— твердо сказала я,— и муж не отпустит.

— Значит, нет?

— Нет.

— Что же делать? — воскликнул он с тихим отчаянием.— Куда девать себя этой ночью? Напиться, что ли?

— Пожалуйста, не безумствуйте,— сказала я,— ведь и так нелегко.

В мастерскую в эту минуту вошла Дюна, бросила взгляд на нераскрытый бюст, на расстроенные наши лица, все поняла, сказала:

— Маргарита собирается уезжать, послала за вами.

Мы вышли в переднюю. Маргарита уже надевала ботики, муж держал перед нею шубку.

Когда дверь за гостями захлопнулась, муж вздохнул с облегчением, сказал:

— Слава тебе господи, наконец — тишина. Ну и утомительный человек этот Толстой! — И, обращаясь ко мне, добавил: — Он что, влюблен в тебя, что ли?

— Откуда ты взял? Ведь Маргарита его невеста.

— Маргарита здесь ни при чем. Положим,— усмехнулся муж,— Маргарита для отвода глаз.

— Кому же отводить глаза? — спросила я, холодея.

— Почему я знаю, кому? Тебе, мне, самому себе.

Одним словом, дело решенное,— закончил он,— увожу тебя отсюда как можно скорее.

И тут же мы условились о том, что дня через три-четыре — не позже — я выеду в Петербург, вслед за мужем, вместе с сыном и бонной Агатой, чтобы рождественские праздники встретить уже дома, на Спасской улице.

* *

*

Итак, близился конец. Я готовилась к нему в странном оцепенении.

Толстой не показывался на Хлебном. Телефонными звонками он вызывал теперь Дюну, и она убегала из дому, возвращалась взволнованная, смотрела на меня волчком, осуждающе.

— Откуда ты? — спросила я, отперев ей дверь очень поздно, на второй день приезда мужа.

Она гневно сверкнула на меня глазами, в них были слезы негодования, презрение, укор.

— Сама знаешь, откуда, бессердечный ты человек! — выкрикнула она. — Мучительница! — И прошла к себе, хлопнув дверью.

Чуждая моя сестра! Прямая, горячая, смелая, — вероятно, она была права. О чем заботилась я, трусливая чистюлька? Пройти по жизни невидимкой, тенью, не толкнув никого, никого не обняв? Не взять ни самой счастья, не дать его никому? И во имя чего? Во имя стерильной чистоты своего сердца, пустого, холодного? А кому оно нужно такое?

На третий день, поздно вечером, я провожала мужа на Николаевском вокзале. Стоя у вагона, он говорил мне:

— Если б у меня не было доверия к чистоте твоих помыслов, я бы не уезжал спокойно, оставляя тебя. Но

ведь ты не просто бабенка, способная на адюльтер. Ты человек высокий, честный...

Я слушала его, стиснув зубы, думала безнадежно: ни высокий, ни честный, ни человек, просто — бабенка! И мне было жалко себя, своей неудавшейся чистоты, своей неудавшейся греховности: ни богу свечка, ни черту кочерга. Жизнь впустую.

— Главное, не задерживай отъезда! — крикнул муж с подножки уплывающего вагона.

Последний фонарь, удаляясь, долго светился в темноте, он казался мне косматым, вероятно от слез, которые можно было теперь не скрывать.

С вокзала я вернулась домой поздно.

— Вас ждут, — сказала прислуга, отпирая мне дверь.

Не раздеваясь, я вошла к себе, повернула выключатель.

Из кресла у окна поднялся Толстой.

— Вы? — воскликнула я. — Что вы здесь делаете?

Он не ответил, подошел и молча обнял меня.

Не знаю, как случилось потом, что я оказалась сидящей в кресле, а он — у ног моих. Дрожащими от волнения пальцами я развязала вуаль, сняла шляпу, потом обеими руками взяла его голову, приблизила к себе так давно мне милое, дорогое лицо. В глазах его был испуг почти невыносимого счастья.

— Неужели это возможно, Наташа? — спросил он тихо и не дал мне ответить.

...Через три дня я выехала одна из Москвы в Петербург для последних решительных объяснений с мужем. Я предвидела, что они будут тяжелы, но неизбежность их стала очевидной. Этого требовало новое чувство, таить которое я не могла больше и не хотела.

Толстому я не позволила сопровождать себя, но он после нескольких писем и телеграмм, посланных вдогонку, выехал все же через неделю вслед за мной вместе с сестрой моей, Дюной.

Свидание произошло в гостинице «Франция», на Морской. Оно решило нашу дальнейшую судьбу. Я до сих пор помню огненно-красную дорожку ковра, ведущую по коридору в полутемную комнату, где пылал камин, где ждал меня Толстой, где мы плакали, обняв друг друга.

На другой день он тайно от мужа увез меня в Москву.

С вокзала на Хлебный мы ехали по Садовой. Был воскресный день, и автомобиль еле пробирався по Трубной площади в толчее традиционного птичьего рынка.

В окно машины просунулась голова:

— Турманов купите, барин!

— Давай.

— Парочку?

— Всех давай,— сказал Толстой, и клетка с дюжиной белых голубей на ходу была вдвинута в машину, загородила сидящих в ней, но никого не удивила — в этот день все удивительное казалось естественным.

У родителей на Хлебном был радостный переполох встречи: возгласы, поцелуи, расспросы, объятия, и надо всем этим метались по комнате обезумевшие голуби, выпущенные из клетки, стучались о потолок, о мебель, бились в стекла, садились на плечи, на стол, оставляли следы на скатерти.

— Ничего,— говорила мама, одновременно и смеясь, и вытирая слезы,— это к счастью.

И все мы в это верили.

ДЫНЯ

(лето 1915 г., Коктебель)

Густо-синий ковер моря с узором белой пены на кайме разостлан у подножия скалы. Ее огибает по шоссе, монотонно скрипит арба. Я лежу на арбе, щекой на горячей от солнца золотой дыне. А рядом сидит он. Обе его руки держат мою, и слова, какие он говорит мне вполголоса, наверно, очень старые и много раз повторенные людьми слова. Быть может, это совсем неумные слова: преувеличения, и клятвы, и даже готовность по первому знаку броситься вниз головой вот с этой скалы. Зачем со скалы? По какому знаку? Это понимаем только мы и только потому, что там, внизу, в маленькой бухте Козы, море гудит нам свадебным органом, а в небе два коршуна кружат над арбой, сопровождая ее, как два шафера.

— Ты счастлива?

— Да. А ты?

Лицо его светится так, что я отвожу глаза. Нет. Нельзя человеку глядеть в такое обнажение чувств. И я стараюсь отвлечь и его и себя в сторону от нас самих.

— Древние греки ели дыню, как ты думаешь? — спрашиваю я, провожая глазами развалины гегуэзской башни на берегу. И, когда она исчезает за поворотом, мы оба молчим некоторое время, потом он отвечает:

— Древние греки ничего хорошего не пропустили на этом свете, на то они и греки, язычники. И дыню ели, конечно. Мало того что ели, и для ваз своих брали овальные ее очертания за образец. Вспомни коринфские амфоры в Эрмитаже, видала?

Теперь, когда его лицо задумчиво-спокойно, я не

боюсь в него смотреть. Мне легко и радостно смотреть ему в лицо, когда он говорит о постороннем, все равно о чем: об эрмитажных вазах, об искусстве греков, об их жизнелюбии, удостоенном бессмертия, и о многом другом.

Медленно мы огибаем вершину скалы и начинаем постепенный спуск вниз, спиральными кругами. Я знаю, что зенит счастья был там, на вершине. Там он и останется навеки.

Все ниже и ниже, все шире круги спирали и, наконец, горная наша дорога втекает в долину, в пыльное и многолюдное шоссе. Вечереет. Спадает зной. Мы едем мимо виноградников и фруктовых садов. Злые татарские собаки встречают и провожают нас лаем. Дымок кизняка стелется по долине.

— Вот так кочевали наши пращуры скифы, — мечтательно прищурясь, говорит он, — скрипели колесами от костра до костра, от ночлега к ночлегу...

И много лет спустя я писала:

Вспоминается ль тебе
Берег в камушках отлогий?
Запах дыни на арбе,
Что везла нас по дороге?
Мы татарских злых собак
Разбудили на деревне,
И скрипела нам арба
О кочевьях жизни древней,
О скитаньях, о судьбе,
Пожелавшей нашей встречи.
Вспоминается ль тебе,
Тот далекий крымский вечер?

Часть третья

Дни и годы

(Материалы для биографии А. Н. Толстого)

Алексей — с гор вода!
Стала я на ломкой льдине,
И несет меня — куда? —
Ветер звонкий, ветер синий.

Алексей — с гор вода!
Ах, не страшно, если тает
Под ногой кусочек льда,
Если сердце утопает!

1915 ГОД

В январе 1915 года мы жили еще на разных квартирах: Толстой на Кривоарбатском переулке, я на Хлебном, у своих родителей.

В начале февраля Толстой выехал на турецкий фронт, корреспондентом от «Русских ведомостей». Вер-

нулся он в Москву 17 февраля. За это время я подготовила для нас квартиру на Малой Молчановке, 8, где и встретила Толстого по приезде его с Кавказа.

С этого дня началась наша совместная жизнь, продолжавшаяся до августа 1935 года, то есть немногим более двадцати лет.

Вернувшись с турецкого фронта, Толстой снова принялся за роман «Егор Абозов». Этот роман он начал писать еще в январе, на Кривоарбатском переулке. Там он диктовал мне первые главы («Кулик» и другое). Выехав на турецкий фронт, он писал о романе с дороги: «Я понял, что́ должно быть в нашем романе. Нужно, чтобы у Егора Ивановича, знающего, как медик, человека со всех сторон, возникла идея о новом изучении психики (души) при помощи физических приборов и логики (такой прибор нужно придумать). Егор Иванович повсюду натывается на иррациональность и считает ее лишь несовершенством нашего сознания. На приборе своем он срывается и сам, попадает в ловушку (Ольга). Срыв же Егора Ивановича состоит в том, что при помощи своего прибора он математически определяет, что ему нужно Варвару Н. убить. Такова задача первых глав (Петербург со всем кошмаром)».

Роман этот так и не был закончен. Причину этого Толстой позднее объяснял тем, что тема романа была мертворожденная, надуманная. Вот что он писал мне из Петербурга в декабре 1915 года, когда оставил уже работу над романом: «Сандро* рассказал мне сегодня удивительную вещь, легенду о Христофоре. Хотя легенда о Христофоре средневековая, но точно создана для России, для наших дней. Это грандиозный план

* Профессор А. С. Яценко.

для романа — то, чего не хватает, например, у «Егора Абозова». Пока он рассказывал, я представил ясно весь роман».



Первую половину лета 1915 года мы с Толстым проводили на даче, снятой родителями моими под Москвой, в деревне Иваньково, где главной приманкой были грибные прогулки и теннис.

Но дождливая погода вскоре погнала нас на юг, в Коктебель, на дачу к поэту Максимилиану Волошину. С нами был мой шестилетний сын Федор с няней.

В Коктебеле Толстой еще работал над романом «Егор Абозов», пока воображением его не завладела всецело новая пьеса «Нечистая сила». Он писал ее с увлечением и закончил вскоре после возвращения в Москву.

Пьеса «Нечистая сила» была принята в Москве драматическим театром (антреприза Суходольской). Осенью начались репетиции. Толстой усердно их посещал. Ставил пьесу режиссер И. Ф. Шмидт (муж актрисы Полевицкой). Еще до премьеры, в декабре, Толстой ездил на несколько дней в Петроград, проводить «Нечистую силу» через цензуру и устраивать ее в Александринский театр. Из Петрограда он писал: «Лаврентьев (главный режиссер) от «Нечистой силы» в восторге. Дал ее читать Теляковскому. Я слышал, что Дризен хвалит ее повсюду. Думается, что пойдет в Александринском театре, за это 85% вероятия».

Новый год мы встречали у себя на Молчановке в компании актеров: Радина, Певцова, Полевицкой, Шмидта и Борисова с гитарой.

1916 ГОД

В январе в Москве состоялась наконец премьера «Нечистой силы». Пьеса имела успех, делала аншлаги и прочно вошла в репертуар театра. Главные роли исполняли: Борисов, Полевицкая, Радин, Певцов и другие.

2 февраля 1916 года Толстой был экстренно вызван в Петроград, чтобы оттуда с группой журналистов (Немирович-Данченко, Набоков, Башмаков, Егоров и Чуковский) ехать в Англию, по приглашению английского правительства. Путешествие было небезопасное по военному времени, а разлука неожиданна, и оба мы были не подготовлены к ней. Толстой собирался наспех. Перед отъездом он взял с меня слово, что по выздоровлении (у меня был грипп) я немедленно выеду в Петроград и, выхлопотав заграничный паспорт, последую за ним в Англию в сопровождении курьера из английского посольства, о котором он позаботится заранее.

Я обещала сгоряча. Но какой это был детски наивный и необдуманный план! Оставшись одна, я поняла всю его неосуществимость. В самом деле, присоединиться к официальной делегации, едущей по приглашению, мне, частному лицу, хотя бы и жене, было и бестактно и недопустимо. Время было военное, разрешения на выезд давались с трудом и только в случаях исключительных. Я же притом еще была женой незаконной, не разведенной с первым мужем. Еще не вошло в берега взбаламученное море сплетен и пересудов вокруг наших имен. Что я могла ответить на вопрос анкеты: причина выезда? Единственным основанием моего путешествия в Англию могло быть лишь то обстоятельство, что мы с Толстым не хотим расста-

ваться надолго. В каком смятении были сердца и в каком тумане головы, чтобы не понять всей нелепости этого плана! Правда, я первая отрезвела, письма же Толстого из Англии были все еще полны призывов, тревог и горьких недоумений, почему я не еду.

Надо сказать, что и у самого Толстого было немало затруднений перед отъездом. Он писал мне из Петрограда: «...сейчас узнаю, что белобилетников за границу не пускают совсем, и как мне удастся выехать в понедельник — один бог знает. Хлопочет сэр Бьюкенен, сам писал прошение, чтобы меня пустили; одного хроменького капитана замучили совсем беготней по отделениям в штабе. Я просидел сегодня там пять часов у англичан и со всеми подружился. Они все умные, добродушные и простые».

Маршрут поездки был такой: Белоостров, Торнео. От Торнео до шведской границы одна верста на санках, затем поездом через Стокгольм в Христианию. Из Христиании морем до Ньюкастла. Оттуда в Лондон.

В письме из Ньюкастла от 20 февраля (н. ст.) Толстой писал: «...пишу тебе в маленькой комнате с наглухо закрытыми ставнями. Горит камин и свистят поезда. Часа четыре назад мы приехали наконец в Ньюкастл, по дороге набрались страху, так как немцы нас разыскивали, но капитан изменил курс. Завтра в 4 будем в Лондоне и завтра же начнутся банкеты и осмотры, а через неделю поедем на фронт. Нам обещают показать немцев шагах в 50-ти. Затем повезут осматривать флот. Ньюкастл произвел на меня очень сильное впечатление, — это город верфей, кораблей и каменного угля. Везде видны гигантские краны, мосты, мачты; проносятся поезда. Вечером нет ни фонарей, ни света из окон. Множество народу бродит в темноте по улицам».

В письме из Лондона от 8 марта (н. ст.) он пишет: «...встаем в 7 с четвертью, в 8 часов утра уезжаем на заводы, на верфи, в армию. Напечатаны ли мои две статейки? В субботу посылаю третью. И по приезде придется писать очень много. По некоторым номерам русских газет, дошедших сюда, видно, что в России не понимают значения нашей поездки. Здесь, в Англии, это — событие огромной важности: никогда, никого, никакой нации представителей в Лондоне так не принимали. Англичане страшно заинтересованы Россией и считают, что дружба с нами должна быть началом новой исторической эры».

Выдержка из письма от 11 марта (н. ст.): «...мы третий день сидим в главной квартире, в парке, в шато с егозливой французской обстановочкой. Во всем замке нас 5 человек. Внизу, где столовая и гостиная, топятся два камина, а наверху, в спальнях, каминов нет, огромные постели под балдахинами и лезешь, как в снег, в простыни. Вчера были на позициях, в обстреливаемом и совсем разрушенном городке. Сегодня ездили в Кале, завтра отправляемся вдвоем с Набоковым в траншеи, вплоть к самым немцам».

В письме от 12 марта (н. ст.): «...вернулись с позиции. Мы были в 25-ти саженьях от немцев, и едва Набокова и меня не убили. Бросали гранаты, и две из них разорвались в нескольких шагах, так что обдало землей и дымом. Пришлось около часу идти по траншеям, под обстрелом».

В письме от 16 марта (н. ст.): «..сегодня вернулись в Лондон через Ла-Манш. Пароход наш конвоировали миноносцы и воздушные корабли, потому что теперь чуть ли не каждый день немцы взрывают минами корабли. При выезде из гавани всем обязательно велят надеть пробковые пояса».

18 марта Толстой вернулся в Россию. Я ездила встречать его в Петроград. Оттуда вместе возвратились на Молчановку. Впечатления о поездке в Англию печатались в «Русских ведомостях», а позднее были изданы отдельной книгой.

* *
*

Во время пребывания Толстого в Англии у меня на Молчановке поселилась его тетка, Марья Леонтьевна Тургенева, родная сестра матери. Немного позже семья наша пополнилась еще одним маленьким человеком, пятилетней дочкой Толстого от Софьи Исааковны Дымшиц — Марьяной.

Тетя Маша была живым источником семейных легенд, преданий и хроники. Из этого источника Толстой не раз уже черпал для своего творчества («Заволжье», «Неделя в Туренева», «Хромой барин», «Две жизни»).

Но по старости лет и по всегдашней склонности все перепутать семейная хроника у тети Маши не всегда была точной, порой не в ладу с датами и нуждалась в проверке. А для проверки существовала другая тетка — Татарина, тетя Оля, точная и памятливая, как живой календарь. (Она была дочерью Анны Борисовны Татариновой, урожденной Тургеневой, родной сестры толстовского деда, Леонтия Борисовича Тургенева.)

Пребывание тети Маши у нас в доме весной и летом 1916 года несомненно способствовало написанию пьесы «Касатка», сюжет которой заимствован из бурной жизни любимого племянника тети Маши Леонтия Комарова. Еще ранее тот же сюжет использован был Толстым в повести «Неделя в Туренева». Точную дату написания «Касатки» я не помню. Знаю только, что «Касатка» написана была одним духом, скоропали-

тельно, недели в две, и что написана она вскоре после пьесы «Ракета», а не до нее, ибо впоследствии Толстой часто говорил, что неудачная «Ракета» была для него разбегом для написания «Касатки».

— Ни одну пьесу я не писал так легко и весело, как «Касатку».

Летом в 1916 году мы жили на Оке, возле Тарусы, в имении Свешниковых Антоновке. На противоположном берегу жил на даче поэт Бальмонт со своей семьей. С нами были сводные наши дети, Федор и Марьяна, тетя Маша и только что нанятая к детям бонна — эстонка Юлия Ивановна Уйбо, она же Юленька, которой суждено было прожить в нашей семье более двадцати пяти лет. В имении работали пленные австрийцы, среди них был один чех, интеллигентный человек, скрипач по профессии. Толстой угощал пленных табачком, сидя на завалинке. Все это вместе с антоновским пейзажем нашло свое отражение в рассказе «В июле», переименованном позднее «В усадьбе».

Мы снимали флигелек в парке, за клубничными грядками, и в стороне от флигелька — маленькую сторожку, где Толстой работал. Это была бревенчатая прохладная избушка в два окна. Сосновый стол, на нем пишущая машинка да букет васильков, скамья, плетеное кресло — вот и вся обстановка. За окном густая чаща парка. Тишина. Только шелест могучих лип да медовый запах залетал порой с ветром в этот маленький лесной кабинет. Толстой его любил и говорил, что ему здесь работается лучше, чем в городе. Детей к сторожке близко не подпускали, чтобы не мешали работать, мне же разрешалось сидеть рядом, в плетеном кресле, читать или шить.

По вечерам в сторожке, когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились ночные бабочки,

вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на одно и то же место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуче пишущей машинки наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал еще не написанное, сверчок осмеливался напомнить ему о своем присутствии. Возьмет вдруг и стрекотнет и опять замолчит надолго.

— Это он тебя стесняется,— говорил Толстой,— а ко мне он уже привык. Мы друзья.

Что же писал Толстой в этой обстановке? Помнится, он заканчивал «Искры», начинал рассказ «В июле». Не то дорабатывал, не то переделывал «Ракету». Листы этой нелюбимой мною пьесы я хорошо помню на сосновом столе. И совсем не помню следов «Касатки». Думаю, что Толстой начал ее писать уже в городе, куда вернулся раньше нас, испугавшись дождей.

Я с детьми приехала в Москву на две недели позже, привезя в спичечной коробке верного друга, сверчка. Но такого насилия над собой он не вынес,— на другой же день рассыпался сухой пылью.

Много лет спустя в немецком курорте Миздрой, устраивая для Толстого рабочий уголок на балконе (он писал тогда «Аэлиту»), я спросила, удобно ли ему и чего не хватает.

— Хорошо-то хорошо,— сказал он,— только знаешь чего не хватает?

— Чего?

— Сверчка. Помнишь, в Антоновке?

— Где же взять его? — сказала я. И обоим нам стало грустно, потому ли, что далека была Россия, потому ли, что далека была молодость? Потому ли, что ни того, ни другого ничем заменить нельзя?



Репетиции «Касатки» осенью 1916 года отнимали у Толстого много времени. В пьесе дебютировала приглашенная из провинции талантливая и красивая актриса Татьяна Павлова. Кроме нее играли Радин, Борисов, Блюменталь-Тамарина, Нароков и молоденькая Белевцева.

Как-то раз Толстой предупредил тетю Машу, что к обеду привезет актрису Блюменталь-Тамарину, которая репетирует в «Касатке» роль тетушки. Она хочет познакомиться с тетей Машей, чтобы успешнее и верней «войти в образ».

Это выражение «войти в образ» очень перепугало тетю Машу. Она засуетилась, вытащила из сундука какую-то допотопную наколку из шантильи и к обеду, по выражению Толстого, впала в фальшивое состояние. Чтобы выйти из него, надо было подпойть обеих старушек. Этим успешно занялся Толстой, подливая в рюмки коллекционную мадеру. Старушки сначала покраснелись, потом разговорились, потом расцеловались, потом прослезились и в конце концов подружились надолго. Вероятно, Блюменталь-Тамарина тогда же «вошла в образ», и так хорошо, что роль тетушки стала одной из лучших ролей в ее репертуаре. Тетя Маша восторженно ей аплодировала, сидя в ложе на премьере «Касатки», которая состоялась в первых числах декабря.

Пьеса имела огромный успех. Автора и актеров вызывали раз десять. В течение нескольких месяцев «Касатка» шла с аншлагами. Блестящие отзывы прессы сопровождали спектакль и в столице и в провинции. Материальные наши дела сразу поправились, это было

очень кстати — через два месяца я должна была родить.

Успех «Касатки» и морально приободрил Толстого, так как незадолго перед этим, в Петрограде, в театре Сабурова, с треском провалилась «Ракета». Ни Грановская в главной роли, ни режиссер Арбатов, ни роскошная постановка не спасли пьесы. Толстой на премьере не был.

* *
*

В середине декабря 1916 года Толстой выехал в Минск, в комитет Западного фронта при Всероссийском земском союзе городов. Вызвал его председатель комитета В. В. Вырубов для работы на фронте. В чем должна заключаться эта работа, он сообщает мне в одном из писем: «Сегодня выяснилось, моя должность будет состоять в следующем. В Земгоре работает 19 дружин, то есть приблизительно 50 тысяч человек, и Земский союз хочет обставить условия жизни рабочих наилучшим образом, чтобы дружины имели бани, прачечные, помещения с достаточным количеством воздуха. Инженеры, начальники дружин пренебрегают многими необходимыми удобствами для рабочих, и моя обязанность будет ревизовать дружины, улучшать условия жизни рабочих. Завтра еду знакомиться с первым учреждением под Минском».

В другом письме он пишет: «...сичу в Минске, в огромнейшей квартире, где живут десяток уполномоченных...» и дальше: «...мне очень странно привыкать к здешней обстановке: все здесь заняты по горло, говорят о делах, строят проекты, разъезжают, а по вечерам, часов до трех, пьют глинтвейн, который называ-

ется «горячее довольство», и ведут холостые разговоры».

Но, видимо, с работой в дружинах у Толстого ничего серьезного не получалось. В шестом письме из Минска есть такие строки: «Сейчас я нахожусь в неизвестности. Дело в том, что у нас организуется новое дело: передвижные по фронту мастерские для починки аэропланов. Меня хотят послать к Дуксу (Меллеру) для изучения деревянных частей аэропланов. На днях это должно решиться. Затем весной меня хотят послать в Киргизские степи для изучения быта киргизов. Киргизы работают здесь, на фронте, и ими очень интересуются. Я, разумеется, ни от чего не отказываюсь, пока же в неизвестности и безделье, если не считать несколько поездок. Нервы у меня приходят понемногу в порядок, и думаю, что за все время войны хорошо отдохну и наберусь впечатлений. Их здесь сколько угодно,— семейные драмы, сложности и пр. Военные впечатления меня, представь, интересуют гораздо меньше. Самое же интересное — это Земский союз, вся организация и работа. Это не случайное и не преходящее с войной, а новая формировка общества в строительную и творческую организацию».

Вот еще выдержка из письма: «...не писал тебе так долго, потому что слегка заматался. Был в дружинах и в одной дивизии. Сегодня катался на аэросанях и все время крихчу над фельетоном, никак не могу с ним сладить, очень трудно, и вообще мне трудно стало писать, точно голову подменили, или без тебя не могу и не умею. К спектаклю в Москву вряд ли приеду,— у нас не так легко получить отпуск и нужно приноровить поездку к делу. Все-таки я гну к тому, чтобы числа 17-го, 18-го попасть в Москву. «Ракета» провалится, я уверен. Ты только не огорчайся и не волнуйся. Бог

с ней. Пусть только Ваня * не особенно ругает, чтобы не очень мне было зазорно на фронте».

1917 ГОД

Премьера «Ракеты», о которой пишет здесь Толстой, состоялась в январе в Москве, в Малом театре, с Жихаревой в главной роли. На премьере присутствовала я одна, Толстой был в Минске. Помню, сидя в ложе, маскируя меховой накидкой свой девятый месяц, я мучительно переживала и за себя и за автора этот на редкость сумбурный и фальшивый спектакль. Самое невероятное в нем было то, что на протяжении четырех актов герои (он и она) чувствовали свое превосходство над остальными действующими лицами в гораздо большей мере, чем это чувствовал зритель. Нет, видимо, самой природой предназначено было нашей «Ракете» не взлететь. Я так и протелеграфировала в Минск: «Ракета не взлетела, не огорчайся, подробности письмом».

Но письмо послать не пришлось. Толстой вернулся в Москву неожиданно и раньше времени. В Минск он больше не ездил, ревизия земгоровских дружин на этом для него и закончилась. А киргизы и деревянные части аэропланов так и остались неизученными.

Позднее Толстой с юмором вспоминал о пребывании своем в Минске в качестве ревизора, а в одном письме даже подписался «твой Хлестаков».

14 февраля я родила сына Никиту и, еще лежа

* Ив. Вас. Жилкин, фельетонист и театральный критик газеты «Русское слово».

в больнице, узнала о событиях, перевернувших государственный строй России.

Как и все вокруг, мы с Толстым были подхвачены головокружительным вихрем свободы. Жизнь развевалась по новым спиральям и неслась с лихорадочным темпом к целям, еще неясным. У всех оказалось уйма новых обязанностей, деловой суеты, заседаний, митингов и банкетов.

Приказом № 539 от 29 марта Толстой был назначен комиссаром по регистрации печати. Работать ему приходилось в непосредственной близости с поэтом Брюсовым. Помню, они разбирали какие-то архивы.

На горизонте стали появляться новые люди. Вернулся из Парижа Илья Эренбург, эмигрировавший при царском правительстве <...> Открылось первое литературное кафе на Кузнецком мосту — «Трилистник». Здесь, на помосте между столиками, выступали московские поэты и писатели с чтением последних своих произведений, причем каждые три дня программа менялась. Выступали: Эренбург, Вера Инбер, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Амари (Цетлин), Борис Зайцев, Андрей Соболев, Осоргин, Шмелев, мы с Толстым и многие другие.

Заново организовывалось книгоиздательство писателей. Толстой был выбран в состав правления.

Этой весной он заканчивал пьесу «Горький цвет», много читал по истории Русского государства, беседовал с профессором Каллашем на исторические темы. У изголовья тахты, на которой спал Толстой, лежала на столике книга профессора Новомбергского «Слово и дело» (пыточные записи, сделанные дьяками XVII века). Толстой читал эту книгу и делал пометки в записной книжке. Так подготавливались «День Петра» и «Наваждение».

7 мая, после развода моего с первым мужем, была наша свадьба. Шаферами при обряде венчания были: профессор Каллаш, писатель И. А. Новиков, философ Рачинский и Всеволод Мусин-Пушкин, приятель Толстого. Через три недели после этого мы крестили трехмесячного сына Никиту. Крестным отцом был журналист Ив. Вас. Жилкин, крестной матерью — бабушка, А. В. Крандиевская.

Лето проводили в Иванькове, под Москвой. Толстой часто ездил в город и возвращался к вечеру на извозчике, полный впечатлений, новостей и тревожных слухов. Бесформенно-восторженное настроение первых недель постепенно спадало. Вести с фронта были тревожны, — усилилось дезертирство. Все больше накалялась атмосфера митингов. Растерянность в интеллигентских кругах росла с каждым днем. Новое, труднопонимаемое, неуютное и даже зловещее лезло изо всех щелей. Видя это, кое-кто приуныл, кое-кто струсил, кое-кто уже подумывал, не пора ли загнать обратно в бутылку выпущенного из нее «злого духа свободы» и как это сделать.

В Москву приехал Керенский. После его выступления в Большом театре Толстой вернулся домой в восторженном настроении. О Керенском он говорил, как о крупном деятеле. Я не могла с этим согласиться, так как давно знала Керенского — он был товарищем первого мужа по политическим вопросам. С этой колокольни я не ждала благовеста. Помню, мы даже поздорили с Толстым и он упрекнул меня в непонимании новых людей, но разве Керенский был новым человеком? Я не могла забыть его привычки произносить в гостях, за ужином, надрывно-обличительные речи о сытых и голодных по такой приблизительно схеме:

«Господа! — Поднимая бокал. — Мы пьем и едим за этим роскошным столом, в то время, когда там, на реке Лене, расстреливают голодных рабочих...» Или же: «Мы пьем и едим, когда тысячи протянутых рук молят о куске хлеба...»

Его прерывал сенатор Зарудный, обаятельный остроумец.

«Я все-таки не могу понять, дорогой Саша, — говорил он, — почему ты негодуешь в конце ужина, а не в начале? Если ты взываешь к нашей совести, то — увь! — это немного поздно...» — Он указывал на пустые блюда и бутылки.

Первоначальные позиции, с которых Толстой воспринимал события, были еще очень далеки от тех, к каким он пришел позднее. Вспоминаю характерный для того времени горячий спор Толстого с М. О. Гершензоном. Во время одной из своих обычных, утренних прогулок по арбатским переулкам Гершензон зашел к нам на минутку и, не снимая пальто, стал высказываться о текущих событиях так «еретически» и так решительно, что оба мы с Толстым растерялись. Гершензон говорил о необходимости свернуть фронт, приветствовал дезертирство и утверждал, что только большевикам суждено вывести Россию на исторически правильный путь.

Толстой возражал горячо, резко и, проведив Гершензона, сказал:

— Все дело в том, что этому умнику на Россию наплевать! Нерусский человек. Что ему достоинство России, национальная честь!

Под национальную честь подразумевалось, видимо, сохранение фронта и война с немцами до победного конца.

Этой осенью сезон в театре Эрмитаж открылся пьесой Толстого «Горький цвет» в постановке режиссера Ю. Э. Озаровского.

В главной женской роли дебютировала молодая талантливая актриса Шатрова, выступавшая перед этим с большим успехом в провинции в антрепризе Синельникова. Пьеса имела успех, не такой шумный, как «Касатка», но все же успех. Играли прекрасно Радин, Блюменталь-Тамарина, Шатрова, Нароков.

Впоследствии пьеса эта, много раз переработанная Толстым и получившая новое название — «Изгнание блудного беса», шла в Александринке и других театрах. Но в первоначальном своем виде, мне кажется, она была свежее, непосредственнее и лучше доходила до зрителя.

* *
*

Наступили октябрьские дни 1917 года.

Я была свидетельницей, наблюдавшей события со своей комнатной, более чем скромной позиции.

После двух шальных пуль, царапнувших подоконник в столовой (окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешаны коврами, забаррикадированы шкафами), детские кровати перенесли в ванную комнату, без окон, тетю Машу и Юлию Ивановну устроили в коридоре на сундуках. Маленького Никиту, болевшего тогда коклюшем, перевели с няней в первый этаж, в квартиру инженера Сахарова, — это казалось безопаснее.

Оба мы с Толстым несли дежурство на парадном подъезде, обязательное для всех жильцов дома. Здесь, и днем и ночью, два кипящих самовара сменяли друг друга непрерывно и кружки с горячим чаем ожидали забегавших с улицы людей с винтовками в руках. Бы-

ли между ними и юнкера, и совсем еще юные гимназисты, и люди в штатском, напоминавшие по виду иногда рабочих, иногда переодетых интеллигентов.

Продрогшие, возбужденные, они наспех глотали горячий чай, хватали кусок хлеба и снова бежали на свои посты. Помню, по нечаянности на парадном нашем напоили горячим чаем и «неприятеля», белокурого парня в кожаной тужурке: выбежав после этого на улицу, он тут же из-за угла подстрелил двух юнкеров.

Пули подкарауливали за каждым углом. Я переживала мучительные минуты, когда Толстой вместе с группой разведчиков выходил на улицу. Он говорил:

— Мне это надо для впечатлений, пойми!

Я понимала и все же не находила себе места, ожидая его возвращения.

Однажды ночью дружинники внесли убитого человека, только что подобранного на углу Ржевского переулка, в двух шагах от нашего дома. Тело положили на кафельные плиты, у лестницы.

— Молоденький! — сказала сторожиха, разглядывая его, и всхлипнула.

Обшарив портфель, дружинники установили по бумагам, что убитый «не наш».

— Большевичок, ясно! — объявил один из них, пряча бумаги в портфель. — Тащите обратно, на панель. Раз не наш, значит, нечего церемониться.

Но Толстой, бывший в эту ночь ответственным по дежурству, крикнул:

— Прекратите издевательство над мертвым. Кто бы он ни был, будет лежать здесь до утра, приказываю.

Дружинники пошептались и вышли. Подойдя ко мне, Толстой повторил:

— Не наш. Как это тебе нравится? — и, понизив голос, добавил: — Теперь и не ваш, и не наш. Ничей.

— Как ничей? Бо-ожий! — вмешалась в разговор сторожика и перекрестилась на темный угол под лестницей. — Царствие небесное!

На седьмой день, когда стрельба прекратилась, мы с Толстым пошли на Хлебный, проведать родителей.

Улицы были еще пусты. Лишь кое-где кучками стоял народ возле первых приказов, вывешенных новыми хозяевами города. Возле одного из них, на углу Поварской, остановились и мы, стали читать. Пожилой господин с бородкой, в пенсне, стоящий рядом, сказал громко:

— Кончилась Россия.

И тут же чей-то веселый голос из толпы ответил:

— Это для вас кончилась, папаша, а для нас — только начинается.

Толстой обернулся на говорившего и долго разглядывал его. Вечером в тот день он записал в своем карманном блокноте: «Разговор у приказов. Старик в пенсне. Веселый парень. Для одних кончилось, для других начинается».

1918 ГОД

Здесь наступает трудный момент в моих записках.

В провалах памяти события прошлого громоздятся, наплывая друг на друга, сливаясь в хаотическом беспорядке.

Расставить их по местам во времени, в хронологической последовательности — трудное дело. До сих пор мне помогали в этом сохраненные письма, дневники, записки, да и сама жизнь — спокойная, размерен-

ная, в пределах комнатных стен — легче укладывалась в точные даты и на страницы мемуаров.

Но теперь я приступаю к тому периоду времени в моей жизни с Толстым (довольно длительному), когда все вокруг и мы сами были в непрерывном и стремительном движении. Период этот не отражен ни в письмах, ни в дневниках: писем не было по той простой причине, что мы не разлучались, а дневников не было потому, что не хватало для них досуга в трудной, скитальческой жизни тех лет.

Но с памятью дело обстоит не так просто. Странная вещь — память! Она живет на светлых островах, разбросанных то там, то тут в бесформенных и туманных хлябях прошлого. Совершенно непонятно, почему избирает она и сохраняет в неприкосновенной четкости на этих островках те или иные впечатления и события из нашей прошедшей жизни. Чем она руководствуется, избирая их? И есть ли какая-либо закономерность в этом отборе? Вероятно, есть, не знаю, но в дальнейшем мне придется в записках своих продвигаться от островка к островку.

Быть может, разрозненные эти просветы памяти, собранные и поставленные на свое место во времени, дадут в конце концов повествованию моему последовательное и верное движение вперед.

Итак — от островка к островку!

Вот один из них.

Москва. 1918 год. Морозная лунная ночь. Мы с Толстым возвращаемся с литературного вечера у присяжного поверенного Кара-Мурзы. С нами попутчики до Арбата писатели Борис Зайцев, Осоргин и Андрей Соболев.

Идем посредине улицы, по коридору, протоптанному в сугробах пешеходами. Ни извозчиков, ни трамва-

ев, ни освещения в городе нет. Если бы не луна, трудно было бы пробираться во тьме, по кривым переулкам, где ориентиром служат одни лишь костры на перекрестках, возле которых постовые проверяют у прохожих документы.

У одного из таких костров (где-то возле Лубянки) особенно многолюдно. Высокий человек в распахнутой шубе стоит у огня и, жестикулируя, декламирует стихи. Завидя нас, он кричит:

— Пролетарии, сюда! Пожалуйте греться.

Мы узнаем Маяковского.

— А, граф! — приветствует он Толстого величественным жестом хозяина.— Прощу к пролетарскому костру, ваше сиятельство! Будьте как дома.

Он продолжает декламировать. Тень на снегу от его могучей фигуры вся в движении и кажется фантастической. Фантастичны и личности из всегдашней его свиты, стоящие рядом: один в дохе, повязан по бабьи чем-то пестрым поверх шапки, другой, приземистый, в цилиндре, сосредоточенно разглядывает костер в лорнетку.

Маяковский протягивает руку в сторону Толстого, минуту молчит, затем торжественно произносит:

Я слабость к титулам питаю,
И этот граф мне по нутру,
Но всех сиятельств уступаю
Его сиятельству — костру!

Пауза.

— Вот это здорово,— говорит Толстой, слегка растерянный.

Вокруг костра оживление, смех.

— Плохо твое дело, Алексей,— с мрачноватым юмором замечает Андрей Соболев,— идем-ка от греха...

Но Толстой не уходит. Он смотрит не отрываясь на

Маяковского, видимо любуясь им. Он не до конца понимает убийственный для себя смысл экспромта.

Продолжая путь, мы спускаемся с Неглинной горы к Охотному ряду. Слева зубчатая древняя стена кажется мостом из XVII века в XX. Эту иллюзию усугубляет пустынная тишина города да старожилы-звезды над ним, много видевшие на этом свете.

Мы долго идем молча, поскрипывая валенками, потом Толстой говорит:

— Талантливый парень этот Маяковский. Но нелепый какой-то. Громоздкий, как лошадь в комнате.

Попутчики смеются, и никто из нас не подозревает, что, спустившись по Тверской до угла Садовой и сворачивая налево, мы пересекаем занесенную глухими сугробами будущую площадь Владимира Маяковского.

* *
*

Весной 1918 года в Москве начался продовольственный кризис. Назревал он постепенно, возвещали о нем очереди возле магазинов, спекулянты и первые мешочники. Но все же обывателей, еще не искушенных голодом, он застал врасплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет. То есть как это не будет?

— Что за чепуха? — возмутился Толстой, которому доложили об этом. — Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники.

Но выяснилось, что двери «жратвенного храма» — магазина Елисеева — закрыты наглухо и висит на них лаконичная надпись: «Продуктов нет» («И не будет», — приписал кто-то сбоку мелом). Надпись эта, а в особенности приписка выглядели зловеще.

Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем доме, выразился в блинчиках с вареньем и черном кофе. Он никак не разрешил общего недоумения — что же будет завтра?

В это время антрепренер Левидов вел переговоры с Толстым, предлагая концертное турне по Украине (Харьков, Киев, Одесса). На Украине было сытно, в Одессе соблазняло морское купанье и виноград. Толстой уговаривал меня ехать с ним и забрать детей, — использовать поездку как летний отдых.

В июле месяце мы выехали всей семьей (не считая Марьяны, оставшейся с матерью) на Курск, где проходила в то время пограничная линия. С нами ехала семья Цетлиных, возвращавшихся в Париж. Позднее в своей повести «Ибикус» Толстой описал это путешествие с фотографической точностью и так ярко, что мне прибавить к этому нечего.

Толстой писал: «...в Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец, на рассвете остановились на границе. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоев. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар, про которого еще в Курске говорили шепотом, — человек необыкновенной твердости характера. Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы...»

Далее у Толстого следует списанная почти с натуры сцена переговоров между комиссаром и «кругленьким господином» (Цетлиным).

Проверка документов и пропусков длилась долго.

Солнце стояло уже высоко, когда мы погрузились наконец в телеги и рысью помчались через степь, на Белгород. Впереди зловеще темнела голубая щель оврага, в котором, по рассказам ямщиков, почти неминуема была встреча с разбойниками. Толстой снял ручные часы, я отстегнула камею на блузке. Все это вместе с бумажником было засунуто под мешок с сеном на дно телеги. Но по милости судьбы овраг миновали благополучно. Вынырнув из него, телеги наши бодро затахтели уже по прямой дороге.

Толстой пишет: «...на закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дороге, к большевикам, стояли немецкие пушки».

Мы проехали под этими жерлами; на минуту остановились, предъявили документы двум рослым немцам в военной форме и — странно! — продолжая нестись уже без остановок все по той же степной, русской дороге, вдруг почувствовали себя за границей, за пределами России.

Так началось многотрудное наше странствие по чужим землям, длившееся четыре года.

Часть четвертая

Странствия

Взлетая на простор покатый,
На дюн песчаную дугу,
Рвал ветер вереск лиловатый
На океанском берегу.

Мы слушали, как гул и грохот
Неудержимо нарастал.
Океанид подводный хохот
Нам разговаривать мешал.

И чтобы так или иначе
О самом главном досказать,
Пришлось мне на песке горячем
Одно лишь слово написать.

И пусть его волной и пеной
Через минуту смыл прилив,—
Оно осталось неизменно,
На лаве памяти застыв.

«КАРКОВАДО»

«Карковадо» — пароход с богатым прошлым. Построенный в восьмидесятых годах на старых гамбургских верфях, он задуман был как роскошная плавучая гостиница трансатлантического рейса.

Какие только бури его не трепали! Сейчас, наспех реставрированный (в который уж раз!), с неизлечимым креном, со старомодными пропорциями труб и мачт, он стоит в Константинопольском порту, готовый отплыть в Марсель.

Салон первого класса. На стене портрет королевы Виктории, августейшей пассажирки бывалых рейсов. Тесно от обилия усадистых кресел, размерами своими как будто рассчитанных на турнюры. В простенок врезан массивный оргán, весь в позолоте, в завитках рококо. По желанию пассажиров это чудо восьмидесятих годов еще хрипит что-то из Оффенбаха. Его редко тревожат. А по углам карточные столы словно ждут еще солидных винтёров из далекого прошлого: джентльменов с бакенбардами, в клетчатых брюках, с тесьмой по швам, в высоких котелках цвета гри де перль.

Но пассажиры, собравшиеся на палубе «Карковадо» в жаркое июньское утро 1919 года, были из другого века: пестрая мелковатая публика с пустяковым багажом. Люди неопределенной профессии и общественного положения. Чаевые давались скупно. Преобладали левантинцы, охотно и плохо говорящие на всех языках.

Русские беженцы в измятых одеждах, прошедшие через огонь, воду и трубы турецкого карантина, расположились на палубе второго класса. Мы были среди них: я, Толстой, двое детей и бонна Юлия Ивановна, наш верный спутник в скитаниях.



<...> В апреле я писала в Париж дяде Сереже*: «Найди на карте маленький островок Халки в Мраморном море, если только он отмечен в группе Принцевых островов отдельной точкой. Я здесь с мужем и детьми. Возвращаться из Одессы в Москву, через фронт Деникина, через Украину, по степям которой гуляют разбойники, оказалось труднее, чем нестись вместе с беженским потоком на юг. И вот нас понесло и выкинуло на чужой берег. Здесь весна, цветут глицинии, кричат ослики; турецкие шарманки с колокольчиками играют гимн Венизелосу¹: «Вита, вита, Венизелос!» Море и небо синее, а денег у нас совсем мало. Выручай, шли визу».

Виза пришла через месяц. Начались сборы. Самый дешевый рейс из Стамбула в Марсель был на кривобоким «Карковадо». Денег у нас действительно было мало, и мы благоразумно разложили их по конвертам, написав на первом: «Железнодорожный проезд из Марселя в Париж», на втором: «Проезд из Константинополя с питанием» и на третьем: «Двадцать франков на буйабес в Марсельском порту». Кто осудит наше любопытство к этой знаменитой марсельской похлебке из омаров, крабов, устриц, ракушек и прочей морской дичи, заправленной южными специями, от которых во рту загорался пожар? Тушить его рекомендовалось легким белым вином. Итак, кроме трех конвертов, из

* С. А. Скирмунт эмигрировал за границу при царском правительстве.

¹ Венизелос Элефтериос (1864—1936) — греческий государственный и политический деятель; в 1917—1920 гг. — премьер-министр.

которых один был уже вскрыт и опустошен в пароходной кассе перед посадкой, в кошельке у нас оставалось немного турецкой мелочи да сушеный морской конек, купленный в Галате «на счастье». В остальном все обстояло благополучно. Трудно было желать лучшей погоды для плавания. Дети были здоровы. Мы еще не устали бродяжничать. Мы были молоды и полны надежд на будущее. Веселая стая дельфинов провожала нас до входа в Дарданеллы.

* *
*

«Карковадо» шел левым берегом пролива. Сидя на свернутых канатах на носу парохода, полковник Тугошерстов завтракал консервами — австралийским кроликом с бобами.

— Троя! — ткнул он вилкой налево, в пустынные солончаки, по которым ветер завывал воронки. — Нравоучительный пейзаж! Наглядное пособие для завоевателей. А мы Новороссийск оплакиваем!

Он размахнулся и запустил консервной банкой в далекий берег. Но банка не долетела и, не оскорбив древней земли, пошла ко дну.

Навстречу дул ветер. Вода наливалась густой фиолетовой тенью, и белые барашки тут и там закипали на ней. Начинало покачивать. Мы выходили в открытое море. Неожиданно справа каменной громадой вырос пустынный остров Имброс, первый часовой Эгейского архипелага. Грозовая туча лиловела над ним. Низкорослые оливы, покрывающие плоскогорье, казались издали серым мохом, таким же сухим и древним, как эта земля.

— Время остановилось! — говорил мне спутник, облокотившийся рядом на борту парохода. — Смотри,

этот остров выглядел так же, когда его огибал Одиссей.

Мы плыли так близко от берегов, что я различала красноватые поросли маков. Босоногий мальчик с дудкой в руке шел за стадом овец. Почему бы не зваться ему Дафнисом? «Много ли различий,— думала я,— между жизнью этого пастуха и того, древнего, воспетого всеми народами? Вот закатится солнце и тот же ужин — овечий сыр, горсть маслин, кукурузный хлеб — будет ждать его в хижине, устланной шкурами».

С бортов парохода, бегущего мимо бедной этой жизни, казалось, что тысячелетия пролетели без следа над ней, ничего не изменив ни в человеке, ни в природе вокруг него. Много позднее я записала в своем дневнике:

Так вот какой он, берег Трон!
Пустынные солончаки,
Где прах гомеровых героев
Размыли волны и пески.

Замедля ход, плывем сторонкой,
Дивясь безмолвию земли.
Здесь только ветер вьет воронки
В сухой кладбищенской пыли.

Да в небе коршуны степные
Кружат, сменяясь на лету,
Как в карауле часовые
У древней славы на посту.

Пески, пески — конца им нету.
Мы взглядом провожаем их
И, чтобы вспомнить землю эту,
Гомера вспоминаем стих.

Но все сбивается гекзаметр
На пароходный ритм винтов...
Бинокль туманится — слезами ль?
Дымком ли с дальних берегов?

Ты говоришь: «Мертва Эллада
И все ж не может умереть...»
И странно мне с тобою рядом
В пустыню времени смотреть,

Туда, где снова Дарданеллы
Выводят нас на древний путь,
Где Одиссея парус белый
Волны пересекает грудь.

Постепенно удаляясь от берегов Имброса, «Карковадо» повернул на северо-запад и взял курс на Салоники.

Однообразный водяной простор скоро утомил пассажиров. Стали расходиться по каютам. За зеленые столики в салоне сели игроки в бридж и в покер.

Меня остановила на палубе маленькая жирная старуха без шеи, стриженная под мальчика и перевязанная крест-накрест оренбургским платком. В дряблых ушах у нее горели бриллианты. На каждом пальце сверкало кольцо. Ниже колен болтался золотой лорнет на цепи. Казалось, на старухе было надето все ценное, что удалось наспех вынуть из несгораемого шкафа.

— Извиняюсь, мадам,— сказала она по-русски, растягивая в улыбку жабий рот, полный золотых зубов,— вы не слышали, в Мессинцах будет пересадка?

Я не сразу поняла, что под Мессинцами подразумевалась Мессина, где мы рассчитывали быть на третий день к ночи.

— Это зависит от того, куда вы едете.

— У Париж,— быстро ответила старуха и тут же рассказала, что едет из Одессы не одна. С нею две воспитанницы — Эсфирь и Клавдия.

— Я им тетя,— добавила она,— честное слово. Везу в Париж учиться, одну — пению, другую — кройке и шитью. Я вас познакомлю с ними, пойдете.

Она подвела меня к двум молодым женщинам, лежащим в шезлонгах. Они лениво пошевелились и, протянув холеные, мягкие, как студень, пальцы, вяло вложили их в мою руку и, не пожав, так же вяло уронили обратно. Женщины были красивы. Волосы, у одной дернутые перекисью, у другой — хною, пламенели на солнце. Обе были молчаливы, зато старуха не умолкала:

— Вы не поверите, Эсфирь поет, как соловей. А сложена, как бог. Шикарное тело, уверяю вас. Платье лежит на ней, как сахар.

Она причмокнула и затем с таким же пылом принялась описывать достоинства второй воспитанницы, Клавдии, которая обладает прирожденным вкусом и шьет и кроит, как Пакен, а главное, сложена, вы не поверите...

— Бросьте, мамаша, надоело! — оборвала ее Клавдия, и то, что она тетку назвала мамашей, не удивило почему-то никого из нас.

В столовой ударили в гонг, созывая пассажиров к обеду. Это было поводом раскланяться с новыми знакомыми, и я поторопилась это сделать.

* *
*

И тетя, и племянницы, и старая болонка Аспазия (уменьшительное — Спази), ехавшая в коробке из-под шляп, оказались соседками бонны Юлии Ивановны и моего двухлетнего сына Никиты по каюте второго класса. Сначала это нас озадачило, но, подумав, мы решили, что Никита находится в таком возрасте, когда всякое соседство одинаково безобидно, и на этом успокоились. То, что старуха была хозяйкой брошенного в Одессе веселого дома, а «племянницы» — двумя

наиболее ценными экземплярами этого заведения, стало известно на пароходе с первого дня. Это вызвало волнение среди экипажа и в машинном отделении, но пока волнение kloкотало под почвой и мало кто из пассажиров его замечал.

* *
*

— Где мои мухочки? — вот первое, что произносит двухлетний беженец Никита, просыпаясь утром в паровой каюте.

Юлия Ивановна подает ему пузырек с сухими мухами из Одессы, любимую игрушку, с которой он не расстается, и гимназический картуз с гербом Московской Медведниковской гимназии. Это сокровище узурпировано в пути у старшего брата Федора. Не вылезая из постели, Никита надвигает его по уши на свою младенческую голову и принимается шепотком разговаривать с мухами, пока Юлия Ивановна разводит и греет ему на спиртовке сгущенное молоко.

Старуха, проснувшись на соседней койке, глядя на все это, умиляется:

— Золотой ребенок! Это что-то отдельное!

Спази, не привыкшая ни с кем делить хозяйкиного внимания, начинает ревниво копошиться у нее в ногах и повизгивать.

С верхней койки Эсфирь свесила голову в гуттаперчевых папильотках и тоже улыбается Никите. А Клавдия, закурив, мрачно разглядывает его из другого угла, вероятно вспоминая своего вот таких же лет, оставленного где-то у кого-то...

— Ну, хватит слюни распускать, — говорит она вдруг низким контральто и швыряет окурок в угол, — передайте бюстгальтер, мамаша!

кок на «Карковадо», каждое утро наполнял вне очереди мой термос горячим какао, сушил диетические сухари для детей и справлялся, едим ли мы мясо.

Появление наше в салоне между карточных столов было встречено с радушием, свойственным южанам. Мужа усадили за стол с коктейлями, меня за карточный стол. Играли в покер. Твердо помня, что в сумочке у меня лежит конверт с двадцатью франками (отложенными на буйабес), кошелек с несколькими пиастрами да сушеный конек-горбунок, я играла осторожно, предпочитая пасовать. Толстой с тревогой поглядывал в мою сторону. Партнерами были: комерсант из Порт-Саида с женой, месье и мадам Самуэль Леви и молодой левантинец — нотариус из Галаты, надушенный шипром, с руками, буйно заросшими черной шерстью.

Игра шла на франки. С моей стороны было, конечно, непростительным легкомыслием принимать в ней участие.

Левантинец предложил карту.

Я сбросила две и к трем дамам прикупила даму и джокера. Сообразив, что случилось нечто необычное, я сдержала дыхание и замерла. Потом сгребла карты в кучу, вынула из сумочки конька-горбунка и положила его сверху.

«Выручай, сивка-бурка, вещая каурка!» — подумала я и объявила игру:

— Сто франков.

— Пас,— сказал коммерсант.

— Пас,— сказал левантинец.

Мадам Самуэль Леви, не спеша, порылась в пачке ассигнаций, вынув, положила перед собой два стофранковых билета и взглянула на меня вопросительно.

— Триста,— сказала я.

— «Однажды в Версале о жё де ля рэн...» — запел вдруг полковник Тугошерстов из «Пиковой дамы». Он сидел с Толстым за соседним столиком и приветствовал меня высоко поднятой рюмкой. У Толстого было покорное, убитое лицо.

— Ты соображаешь, что делаешь? — спросил он кротко и отвернулся в сторону.

Мадам Самуэль Леви тем временем покрыла мои триста и набавила еще сто.

— Предупреждаю вас, у меня сильная карта,— сказала она с любезной улыбкой.

Но меня уже несли сумасшедшие крылья азарта. К тому же я знала, что комбинация моих карт беспроигрышна, и поэтому весело крикнула:

— Пятьсот!

— Покрыто! — подхватила мадам Леви и торжественно раскрыла четыре туза.— Покажите, что у вас?

Тогда я принялась медленно, одну за другой вытаскивать своих дам и под конец бросила на них джокера. Партнеры ахнули и зацокали языками.

Игроки столпились вокруг нас. Мадам Самуэль Леви положила пять стофранковых билетов рядом с моим коньком и встала.

— Шикарно сыграно! — сказала она с любезной гримасой, пожимая мою руку на прощанье. Ее лицо было покрыто багровыми пятнами.

* *
*

В этот вечер, ползая на четвереньках по каюте, мы с Толстым вычерпывали консервными банками мыльную воду из-под коек. Она стекала к нам из умывальной кабины, расположенной напротив по коридору.

Пароходный крен был причиной этого ежедневного наводнения.

— Авантюра! — кричал Толстой, выплескивая воду в круглый иллюминатор. — И не суй мне, пожалуйста, эти грязные деньги.

— Разве можно было не играть? — оправдывалась я. — Ведь четыре дамы и джокер — подумай только! Это больше не повторится, даю тебе честное слово.

— Счастье твое, что так кончилось, — продолжал он, — а если бы кончилось иначе? Что тогда? Ты это себе представляешь?

Да, я это себе представляла и колодела от ужаса. В самом деле, я чувствовала себя авантюристкой в международном масштабе, а пять стофранковых билетов были свидетельством моего бесчестия. Я не знала, куда их деть. Вернуть мадам Леви? Глупо. Я сунула их на дно чемодана.



Ночью мы вошли в Салоники, и до рассвета «Карковадо» грузил французские войска, возвращавшиеся с фронта.

Было трудно понять, почему французский фронт оказался в Греции под конец войны, в лето девятнадцатого года. Но люди давно перестали понимать что-либо в этой войне и ничто никого не удивляло.

Утром зуавы в красных фесках лежали на палубе вповалку. Пробираясь на кухню за кипятком, мы с детьми шагали через ноги в грязных обмотках, через ранцы и спящие тела. Признав в нас русских, солдаты ободряюще покрикивали нам вслед:

— Ленин карашо, ле совьёт — карашо!

Один, загорелый, в берете, взял Никиту на руки и подбросил в воздухе несколько раз. Никите это понравилось.

— У меня такой же в Бордо, — сказал солдат, возвращая мне сына.

* *
*

Новые пассажиры, видимо, чувствовали себя хозяевами на пароходе. Их было много. Они были веселы и возбуждены, как люди, только что избежавшие смертельной опасности.

Несмотря на запрет, солдаты бродили по палубам первого класса, заглядывая в двери бара и в окна салона, разглядывая бесцеремонно публику, зубоскаля и отпуская шуточки, не всегда безобидные. Они кричали официанту, пробиравшемуся между столиками с замороженной бутылкой вина в ведерке:

— Это у кого такая жажда?

Они сравнивали мадам Самуэль Леви со старой верблюдицей. Они клялись пересчитать зубы левантинцу, хлопнувшему с проклятием окно своей каюты-люкс перед самым носом любопытного в красной феске. Они предлагали ему поменяться местами.

— Я здесь выплюсь не хуже, чем в окопе! — кричал зуав, заглядывая в окно каюты. — Je m'arrange ici! Ecoute mon vieux, vas le promener dehors!¹ — И взрыв хохота покрывал его слова.

Пассажиры отправили делегацию к капитану с просьбой оградить покойное и комфортабельное плавание. Но, как писал некогда Блок: «Покой нам только снится...»

¹ Я устанваюсь здесь! Послушай, старина, вышвырни-ка его отсюда! (Франц.)

Да и что мог сделать капитан, более всего озабоченный винтами «Карковадо», работавшими с грехом пополам, еле волоча перегруженный пароход? Он обещал переговорить с командиром полка. Однако переговоры кончились неожиданно: капитану было предложено высадить недовольную публику в ближайшем порту и превратить таким образом «Карковадо» в транспортное судно французских войск. Услыхав об этом, пассажиры присмирели и решили инцидента не обострять. Война все-таки! Поскорее бы добраться до Марселя и послать к черту кривобокую посудину, которой давно пора на слом.

* *
*

Второй день Эсфирь и Клавдия не ночуют в Никитиной каюте, на палубе их тоже не видно. Тетя не слезает с койки. Целый день она ест и раскладывает пасьянсы. За этим занятием я застаю ее и сегодня, заглянув в каюту после обеда. Аспазия дремлет на подушке, вздрагивая от укусов блох. Рядом, сидя на койке, тетя выковыривает икру из банки указательным пальцем и намазывает ее на хлеб им же. Затем обсасывает палец и принимается за карты. На мой вопрос, куда скрылись ее племянницы, она отвечает вопросом:

— А я знаю? Уверяю вас, мадам, меня это несколько не интересует.— И, снова ковырнув в банке, она продолжает философски: — Молодым женщинам надо развлечься. Что вы хотите? Молодость!

В каюте жарко. От старухи пахнет съестными припасами, залежавшимися в корзине. Я гляжу на бубновый туз в ее руках, покрытый жирными пятнами, и мне становится не по себе.

— Вы разрешите проветрить? — спрашиваю я, открывая оба иллюминатора. Веселый морской ветер врывается в каюту и одним взмахом сметает карты с одеяла.

* *
*

«Посещение бара разрешается пассажирам первого класса. Нижним чинам вход воспрещен».

Такое объявление вывешено сегодня на дверях бара. Его читают солдаты, подходя группами по пять, шесть человек. У читающих лица иронически мрачные.

Наконец в полдень, потолкавшись у дверей, человек десять зуавов входят в бар и требуют коктейлей. Им предлагают взамен прочитать правила бара и удалиться, не нарушая их.

В ответ в зеркальную стойку летят стаканы и бутылки. Затем зуавы стаскивают с высокого табурета месье Самуэль Леви, тянущего из соломки сода-виски, и выкидывают его за дверь, крича вдогонку:

— Скажи спасибо, что не за борт летишь, сволочь!

Перепуганный бармен исчезает. Публика разбегается. Официанты, пытающиеся применить силу, сбиты в неравной схватке. Вслед за этим чернокожий зуав, подвязав салфетку вместо фартука, принимается хозяйничать за стойкой. Он замешивает адские смеси из ликеров, коньяку, рому, подливает спирту, подсыпает перцу, тмину, шафрану.

— A la Martinique, Martinique, Martinique, — *сe ça qu'est chic!*¹ — напевает он, притопывая.

¹ На Мартинике, Мартинике, Мартинике — вот где шик! (Франц.)

Можно сказать с уверенностью: ни один бар на свете не додумывался до подобных коктейлей! У солдат дух перехватывает от зверских «ершей», сочиненных африканцем по вдохновению.

— Чего ты намешал туда, черный дьявол? — кричит один, с глазами, вытаращенными от изумления. — У меня пожар в глотке!

— Туши его шампанским! — советуют вокруг.

Взлетают пробки. Пена заливает грудь и шею тем, кто пьет прямо из бутылки, запрокинув голову.

А в это время слухи о бунте облетают пароход с быстротой пламени на горящем здании. Пассажиры прячутся по каютам и, как букашки, задрав лапки, притворяются мертвыми: нас нет! Те же, кто посмелее и любопытнее, спешат к месту разыгравшихся событий. Они застают бар, уже оцепленный солдатами с ружьями наперевес, непонятно против кого направленными. Седоусый капитан в окружении офицеров, сидя за столиком бара, пишет донесение. Свидетели в очередь подходят к нему.

Говорят, что перепившихся зуавов связали, сволокли в трюм и там заперли. О судьбе их гадают, строят предположения. Одни ждут военного суда. «Не посмеют, — говорят другие, — учтите состояние войск».

— Ну и влипли в историю! — вздыхает полковник Тугошерстов. — Это называется из огня да в полымя! Разнесут пароход, попомните мое слово, и всех штатских за борт: я человек военный, у меня нюх на это собачий! Я еще в Салониках почуял — пахнет бунтом. Эх, скорее бы Мессина! Пароход стоит в порту сутки. Я бы всех спустил на берег, энергию размотать. Полгода в окопах, с этим не шутят!

— Вы совершенно правы, — вмешивается в разговор левантинец, заросший шерстью, — нужен громоот-

вод. И у нас есть он на пароходе, — он загадочно улыбается, — две барышни из Одессы...

— Послушайте, вы — мудрец! — смеется Тугошерстов.

Но левантинец серьезен. Он берет под руку полковника и принимается нашептывать ему в ухо, взволнованно жестикулируя.

* *
*

Шестидневный рейс, обещанный при посадке, превращается в нечто затяжное. Уже вторую неделю волочит «Карковадо» свой отяжелевший и дряхлый корпус, борясь с течениями, заносимый ими в сторону. Его винты надрываются из последних сил, одолевая водяные просторы, а Мессинский пролив все еще впереди. У входа в него предстоит обогнуть минные поля, и есть опасность, что течением «Карковадо» понесет на них. Во избежание катастрофы навстречу нам из Мессины выслан миноносец. Он должен взять на буксир «Карковадо» и ввести его в пролив.

А пока что странные дела творятся на пароходе. Вчера, среди бела дня, совершенно голая женщина перебежала мне дорогу по коридору и скрылась, хлопнув дверь, в одной из кают. Я так и не разглядела, кто это был — Эсфирь или Клавдия.

Целый день в темном конце коридора толкуются и шепчутся солдаты. В воздухе топором висит запах капорала (французской махорки). Организуется таинственная очередь. Визг и хохот доносятся из служебной каюты. За попытку подойти вне очереди к двери вчера ночью молодой зуав выгрыз кусок спины чернокожему полковому коку, после чего оба африканца, сцепившись в клубок и кровотока, катались по коридору. Их едва разняли. Укушенного сволокли в трюм, кусавший

арестован. Ходят слухи, что есть приказ и «тетю» и «племянниц» высадить в Мессине.

* *
*

Рано утром в коралловой дымке рассвета мы увидели наконец берега южного мыса Италии.

Земля казалась блаженно прекрасной в виноградных холмах и апельсиновых рощах. Веселый и пестрый, как игрушка, городок Реджио, с домиками у самой воды, белеющими под яркой черепицей, казалось, обещал страннику мирную, безмятежную жизнь под безоблачным небом, откровенно синим, как на открытке.

У берега ветер трепал рыжий парус в заплатках. Загорелые люди пели и тянули сети из воды. Издали было видно, как рыба трепетала в них и сверкала серебром на солнце.

— Эх,— вздохнул полковник Тугошерстов,— послать все к черту! Высадиться здесь, купить лодку и рыбачить с ними,— он кивнул на рыбаков,— вот жизнь!

И на минуту показалось: а что, если сделать так? Что, если жизнь еще не начиналась? Жизнь начинается завтра, а все, что было до сих пор,— лишь трудный и кровавый путь к этой гавани на солнечном берегу! Но мимо, мимо... покоя нет, «покой нам только снится...»

С густым ревом «Карковадо» повернул налево и вошел в Мессинский порт.

* *
*

В десять утра солнце уже припекало. Первый завтрак на пароходе был закончен. Стоя у борта, я

чистила Никите мессинский апельсин величиною почти с его голову. Все вокруг выглядело таким свежим, праздничным, нарядным в этот веселый, солнечный день: флаги на портовой таможне, красный берет на красавце, продающем «бо-марше-коралли»¹, густой ультрамарин воды. Мимо нас по трапу пассажиры спускались на берег: левантинцы в панамах, греки, принаряженные дамы в белом. Офицер, отмечая номера в книге, пропустил гуськом солдат — счастливец, получивших отпуск на берег до вечера. Оставшиеся на борту с завистью смотрели им вслед. Потом матрос пронес увесистую «тетину» корзинку и картонку с Аспазией, за ним проковыляла сама «тетя» на высоченных каблуках, с перламутровым биноклем на цепи. «Племянницы» уже давно ожидали ее в лодке. Эсфирь полулежала, погрузив белую руку по локоть в воду, равнодушная ко всему на свете. Клавдия курила.

— До свидания, мадам,— сказала «тетя», проходя мимо,— посылайте открытки: Париж, до потребности. Здесь мы не задержимся. Мессинцы — это же захолустье какое-то! Уверю вас, мы у Париже раньше вас будем.

— Охотно верю.

Лодка закачалась и до бортов ушла в воду, приняв «тетю» с корзинкой, затем, пересекая зыбь, заныряла по направлению к берегу.

Когда палуба опустела, из трюма подняли на носилках забинтованного кока и тоже потащили его к трапу.

Лицо у негра было оливково-серое, как у мертвого.

— А этого зачем на берег? — спросила я у Тугошерстова, стоящего рядом.

¹ Дешевые кораллы (искаж. франц.).

— В лазарет. Заражения крови боятся,— добавил он тихо и, куснув апельсин вместе с кожей, перевел разговор на Марию Гай.

Есть такая знаменитая певица, испанка. Это она, в роли Кармен на сцене Мариинского театра, научила когда-то полковника Тугошерстова вот так есть апельсины с кожей. Не то чтобы вкусно, но шикарно, черт возьми! — и очень по-испански.

Слушая болтовню Тугошерстова, я глядела на берега Мессины, на развалины домов — следы знаменитого вулканического землетрясения. По правде говоря, выглядит это не слишком страшно, несмотря на то что итальянцы, уже много лет солидно приторговывая следами катастрофы, оберегают их для туристов.

Но оказывается, и катастрофы выдыхаются от времени, выходят из моды.

— Наши беды поехиднее этих,— философствует Тугошерстов, щурясь на развалины через дым папироски,— кого взволнует сейчас злопыхательство старого Стромболи? Уж, конечно, не меня, и не вас, и не русского беженца, выдавшего виды. Ему, русскому беженцу, не это страшно. Ему гуляйпольские бубенчики до сих пор по ночам снятся. Казалось бы, чего тут страшного, бубенчики в степи? А вот, представьте себе, и во сне кровь леденеет от этого звона. Летит за ним беда, смерть, пылят тачанки какого-нибудь бабки-живоглота. И торопится беженец проснуться. Слава богу — пароходная койка! Конечно, форестьеров с бедкерами¹ не заманишь на эти русские ужасы — не поймут и деньги за это платить не будут.

¹ Имеются в виду завязые путешественники с путеводителями популярной туристской фирмы «Бедкер».

На палубе становится жарко. Апельсин мы с Никитой прикончили, и обоим нам надоел словоохотливый полковник. Не поехать ли на берег?

День, проведенный на берегу в Мессине, запомнился мне навсегда, несмотря на то что никакими крупными событиями он не был отмечен. Вероятно, это был самый обыкновенный утомительно долгий и знойный южный день. Он мирно отгорал, и закат, в свой положенный час, торжественно и пышно схоронил его в море, за лиловыми конусами вулканов, точно так, как делалось это испокон веков и как изображено это в альбоме раскрашенных фотографий. (Нас заставили все же купить этот альбом, как мы ни сопротивлялись.) Одновременно фотограф с таракаными усами добился своего — снял нас на фоне чужого пепелища и всучил дюжину открыток с видами на развалины и вулканы.

Потолкавшись по узким улочкам между киосками с лимонадом в толпе матросов, туристов, комиссионеров, продавцов и просто веселых бездельников, мы свернули на пустынную улицу, спускающуюся к морю, и сразу будто очутились за городом. Дома здесь стояли разделенные широкими пустырями в развалинах. Коза мирно щипала траву, бродя между ними.

Мы присели на ступеньки, бывшие когда-то крыльцом или лестницей несуществующего теперь дома. Здесь дул ветерок, донося издали запах цветущих олеандров, запах моря и гари опаленной земли и, как всегда на юге, ко всем этим запахам примешивался еле заметный душок сухой падали, обезвреженной солнцем.

— Все-таки это — кладбище, а не город, — сказал мой спутник и, вздохнув, принялся набивать трубочку

остатками кэпстена.— Только море живое. Посмотри, как оно движется, точно дышит.

Да, оно подлинно дышало. Великолепное, огромное, древнее. Я с волнением смотрела на него, качавшего на своей груди столько скитальцев, искателей счастья. Теперь и мы вверили ему свои жизни. За чертой горизонта был Марсель, желанный порт, новая земля, новая жизнь.

И, словно напоминая об этом, трижды взревел над морем могучий гудок. Это «Карковадо» созывал своих пассажиров, готовясь к отплытию, и, боясь опоздать, мы почти побежали на этот зов.

ПЕРЫШКИ

В 1921 году на квартире у И. А. Бунина, в Пасси, я снова встретила Куприна, после перерыва почти в десять лет.

Он постарел, поседел, обрюзг, и по-прежнему около него стояла бутылка. Со мной он поздоровался, хмуро насупясь, словно давая знать, что вражда продолжается. И сразу вспомнились старые счеты в отношениях с этим человеком. Начались они давно, с первой нашей встречи в Петербурге.

Так случилось, что на банкете памяти Тургенева, в белом зале Театрального клуба, меня посадили далеко от мужа, на другом конце стола. По молодости лет я была неопытна в застольных беседах и поэтому, окруженная малознакомыми людьми, чувствовала себя неуютно.

Напротив сидел плотный человек с волосами, начесанными на лоб челкой. Он в упор смотрел на меня злыми медвежьими глазками.

— Это писатель Куприн,— шепнул мне сосед, критик Волынский,— прошу вас, не глядите в его сторону. Он пьян.

Но Куприн искал моего взгляда и, встретясь с ним, спросил:

— Замужем?

Я ответила, словно уличенная в нехорошем:

— Да.

Тогда, обращаясь к своему соседу, он сказал громко:

— А делает вид, будто не знает, как дети делают!

Мне стало жарко. Я не знала, что ответить на дерзость. Волынский поторопился отвлечь мое внимание и заговорил о вечере дионисийских плясок на квартире у Сологуба.

— Вы не принимаете участия? Надо, чтобы вы плясали с нами,— сказал он и взволнованно вытер губы комочком платка.

Куприн в это время, отмахнувшись от соседа, тянувшего его в сторону, продолжал, глядя на меня в упор:

— Крайне необходимо мужа вашего вести к Марцинкевичу*. Срочно.

Я не знала, куда отвести глаза, как скрыть запылавшее лицо. Но, видимо, пьяному человеку нравилось мое смущение. Он поднял рюмку и, продолжая глядеть в упор, медленно и отчетливо, пренебрегая буквой «э», произнес:

— Поетесса.

* Марцинкевич — известный в Петербурге кабак для холостых развлечений.

Прозвучало это почему-то оскорбительно. Его подняли со стула и повели.

— Я этих Саф-ф-фо знаю,— крикнул он на ходу и вдруг загнул что-то совсем уже непонятное. Соседи засуетились. Я чувствовала себя овцой, которую огрели хворостиной. Не суметь ответить! Не поставить на место пьяного человека! Я боялась расплакаться, это было бы глупо. Сидящие поблизости, выражая сочувствие, тянули ко мне бокалы.

Мы встречались после этого довольно часто в литературных кругах. Антипатия, возникшая с первой встречи, была непреодолимой и обоюдной. Мы избегали соприкоснуться. Только однажды, за поздним ужином у актера Ходотова, Куприн все же крикнул мужу моему с другого конца стола:

— Едем к Марцинкевичу, Федор! Какого черта...

Но гости заткнули ему рот рюмкой. Хозяин затынул под гитару: «Погиб я мальчишечка...»

Все обошлось благополучно и на этот раз.

* *
*

Прошло много лет. Теперь за плечами каждого была революция: бури и пепелища, родина, перепаханная вдоль и поперек снарядами гражданской войны. И в личной жизни у обоих камня на камне не осталось от прошлого: у него — другая жена, у меня — другой муж. Старая вражда показалась мне смешной, и, так как силы наши теперь, видимо, сравнялись, я села против и спросила:

— Скажите, Александр Иванович, чего вы не можете мне простить до сих пор?

— Извольте,— сразу ответил он,— голубиных перышек ваших, в которые не верю.

— Какие перышки? — засмеялась я. — И кто вас уверял, что они растут на мне?

Куприн поморщился и потянулся за бутылкой:

— Простите за откровенность, к женщинам, пишущим стихи, у меня вообще идиосинкразия.

Подошедший Толстой спросил, о какой идиосинкразии идет речь.

— Мы вспоминаем прошлое, — ответила я.

На этом разговор оборвался, и вечер благополучно закончился стихами Бунина. Куприн дремал перед пустой бутылкой, а может быть, притворялся, что дремлет.

Жизнь в Париже была трудной. Толстой писал первую часть «Хождения по мукам». Я окончила трехмесячные курсы шитья и кройки на avenue de Opéra и принялась подрабатывать шитьем платьев. Были месяцы, когда заработок мой выручал семью.

Помню, вечером под Новый год, уложив детей спать, я сидела у камина в нашей маленькой столовой на улице Ренуар и заканчивала бархатное платье; уже два раза приходили справляться, готово ли оно. Моя заказчица, жена русского художника Р., собиралась ехать в нем на встречу Нового года. Я торопилась и поглядывала на часы. Круглые брикеты в камине накалились, их ровный жар согревал ноги. Я устала, просидев целый день за работой, и уже предвкушала отдых после трудового дня: сдать заказ, взять ванну, надушиться, надеть вечернее платье. В ресторане у Прюнье заказан был столик. Там соберутся друзья к двенадцати часам. Сегодня я прокучу собственные, заработанные деньги. Разорюсь на лангуста, так и быть, а мужу закажу дюжину маленьких кольчестер — его любимых устриц. Это будет замечательно.

Из соседней комнаты, где Толстой стучал на машинке, доплывал знакомый запах кэпстена. Как всегда, и дымок этот, и стук машинки рождали во мне ощущение праздника. Работа в соседней комнате, я это знала, шла хорошо, и это было главное. К одиннадцати часам я закончила платье, встряхнула его и, перекинув на руку, опустилась в бельэтаж, где жила моя заказчица.

— Наконец-то! — воскликнула она и повела меня в спальню, вытолкнув оттуда каких-то мужчин в смокингах, между которыми был Куприн.

— Ждите меня в столовой, господа, — крикнула она им, — я сейчас буду готова!

Платье было удачно и сидело хорошо.

— Золотко мое, а я волновалась... — сказала расстроганная дама, поцеловала меня и положила в руку семьдесят пять франков. Потом, повертевшись у зеркала, спросила:

— Хорошо бы вот тут закрепить? И тут еще.

Я закрепила и там, и тут и, простясь, вышла в переднюю. У дверей курил Куприн.

— С Новым годом! — остановил он меня.

Поклонившись, я хотела пройти мимо, но он загородил дорогу.

— Дайте ручку, портниха.

Я протянула руку.

— Помирились? — спросил он и, не выпуская руки, близко заглянул в глаза.

— Александр Иванович, а как же перышки?

Он не сразу понял, потом улыбнулся:

— Перышки? Вот злопамятная! А они на портнихах не растут. И слава тебе господи. Без них лучше. Верно?

— Верно, — согласилась я, — с Новым годом!
На этом мы простились.

ТРИ ВСТРЕЧИ

I

Новую живописную студию, открытую в Петербурге осенью 1906 года, возглавляли два крупных художника из «Мира искусства» — Бакст и Добужинский. Первый преподавал живопись, второй — рисунок.

В те годы, когда академические устои казались мертвыми, а «передвижники» давно уже никуда не передвигались с устаревших позиций, ореол «Мира искусства» (нового художественного течения) был полон блеска и сил. В лучах этого ореола новорожденная студия казалась многообещающей, своевременной и встречена была публикой горячо, с доверием в кредит.

Никого не смутило даже то, что поначалу ее заполнили любители, люди расторопные в смене всяческих увлечений и легкие на подъем — из числа тех, кто, не имея упорства, а порою и сил преодолевать трудности на старых путях, устремляются табунами по бездорожью, что всегда интереснее, а главное — легче; конечно, ставка была не на этот кочевой народ, он ненадолго задерживался в мастерской. Оседали в ней упорные трудолюбцы, работавшие с профессиональной требовательностью к себе.

В этой студии соседкой моей по мольберту была одно время красивая молодая женщина — Евгения Ивановна Сомова. По мужу своему она приходилась родственницей известному художнику Константину Сомову. На меня произвела впечатление ее красота, рассеянный взгляд, часто устремленный за переплет

итальянского окна мастерской, взгляд в «никуда», каким смотрят обычно люди, поглощенные одной мыслью. Она была неразговорчива. Работала прилежно, но равнодушно, словно не в этом было главное. В перерывах садилась на подоконник и, вынув из кармана холщового фартука какие-то письма, все читала их и перечитывала, нередко вытирая слезы. Кого и что оплакивала она, такая молодая, такая красивая? По всегдашней склонности сочинять повести о людях, задевших мое воображение, я пыталась и на соседку мою прикидывать всевозможные романтические ситуации, одну драматичнее другой. Могла ли я знать, насколько страшнее и изобретательнее была жизнь по сравнению с моим вымыслом! Могла ли я знать, что как раз в те дни был предан суду и ожидал смертного приговора обвиненный в подготовке покушения на жизнь Николая II инженер Зильберберг, родной брат моей героини, террорист-динамитчик, носивший конспиративную кличку Штифтар!

Как выяснилось много лет спустя, он был одной из последних жертв провокатора Азефа.

* *
*

В Петербурге зимние дни коротки.

Уже в четвертом часу подплывают к окнам голубые сумерки и быстро густеют. Зажигаются фонари. В студии вспыхивает мертвенно-жесткий электрический свет: он искажает живописную гамму на теле натурщицы. Приходится кончать работу.

Возвращаясь домой, я иду не спеша вдоль ограды Таврического сада под серебряным навесом деревьев. Впереди меня торопится Евгения Ивановна. Издали я люблю ее легкой походкой, стройной фигурой, стя-

нутой меховым жакетом. Я вижу, как, отделяясь от ворот ограды, к ней быстро подходит высокий господин в котелке, берет под руку и оба они скрываются в мутной синеве аллеи, пересекающей по диагонали Таврический сад. Все это происходит очень быстро, и во всем этом нет ничего необычайного. Но воображение мое словно кнутом подстегнуто внезапным появлением фатоватого господина в котелке, вынырнувшего, как призрак, из зимней петербургской мглы. Кто он? Не муж, конечно. Мужа Евгении Ивановны я знала, встречала в студии не раз.

Приходилось основательно перестроить схему сочиненной повести, ввести в нее готового героя, злодея, быть может? Этим делом я и занялась по дороге к дому, медленно шагая, порой останавливаясь в раздумье, порой натываясь на встречных.

II

Круглый год по средам и пятницам экспресс из Ниццы доставлял в Петербург для цветочного магазина Эйлерса живые цветы — розы, гвоздики, пармские фиалки. В эти дни в магазине было особенно оживленно. Люди в шубах, запущенных снегом, нарядные дамы, лицеисты, военные толпились у прилавка возле плетеных корзин, узких и плоских, из которых продавщицы бережно вынимали южные цветы, уложенные рядами. Цветы были чуть сырые, чуть примятые, трогательно усталые от долгого пути, с головками, обернутыми папиросной бумагой. Свежим ароматом веяло от корзин, и люди были взволнованы, вдыхая его. Многие заходили, чтобы наспех приколоть к воротнику шубы букетик живых фиалок и, выйдя

снова на мороз, в пургу, унести с собой на груди душистый комочек весны.

В тот морозный день, когда я с мужем зашла к Эйлерсу, чтобы выбрать пучок красных гвоздик для натюрморта, сенсационной новинкой магазина были голубые розы, доставленные из Франции накануне. Противоестественная окраска этих цветов придавала им какую-то болезненную прелесть. Их брали нарасхват, особенно после рассказа о том, что Карабчевский, знаменитый адвокат, окрестил их «лунными розами», отобрал для себя дюжину и велел послать на дом.

Около прилавка особенно горячился какой-то дородный бородач в бобровой шапке, похожий на оперного боярина. Его возмущали «парадоксальные» цветы (так он назвал их).

— Помилуйте, — шумел бородач, — разве это розы? Это надругательство над божественным цветком. Декадентщина. Чахоточный бред. Будьте любезны, барышня, заверните мне дюжину нормальных красных, на длинных стеблях.

Вокруг смеялись, спорили. Одни бранили голубые розы, другие восхищались ими, но все покупали, покупали, одержимые психозом моды. Муж мой не одобрил новинки.

— Неужели тебе нравится? — спросил он. — Какая безвкусица!

А мне и нравились и не нравились эти странные цветы. Что-то в них было мечтательное, а быть может, просто претенциозное? К тому же стоили они так дорого, бог с ними! Я решила воздержаться.

Гвоздики мои были уже упакованы, мы собирались уходить, как вдруг у самых дверей столкнулись с парой оживленных, смеющихся людей. Они не вошли, а словно влетели на крыльях. Клубы морозного пара

ворвались вместе с ними в тепличный воздух магазина. Это была Евгения Ивановна, и с нею все тот же незнакомец в котелке. Узнав меня, она сразу защебетала:

— И вас заразил этот психоз? Весь город бредит голубыми розами, они в самом деле сверхъестественно прелестны, вы не находите?

Но щебет этот шел мимо моих ушей. Я в упор разглядывала ее спутника и совсем оторопела, увидя, что он любезно раскланялся с моим мужем, а потом, как и все вокруг, занялся голубыми розами. Рукой в модной ярко-желтой перчатке он прикасался к цветам, словно желая убедиться в их реальности. Ироническая усмешка на его лице показалась мне неприятной. Шепотом я спросила у мужа:

— Кто это?

Но муж сразу оборвал меня:

— Потом!

И, только выйдя на улицу, оглянувшись и убедясь, что никто не идет за нами, сказал:

— Это Савинков. Удивительно, как этот человек рискует шататься по городу у всех на виду? И знаешь что,— добавил он,— пожалуйста, не говори никому, что мы его встретили. Обещаешь?

Я обещала и сдержала обещание. Я не говорила о Савинкове. Но кто мог помешать мне слушать о нем? А слушать приходилось часто. В петербургских гостиных о Савинкове говорили много и разноречиво, говорили громко и шепотом. И чего только не говорили!

Савинков — фигура героическая, несущая на знамени своем заветы «Народной воли» (голоса из недр «Русского богатства»).

Савинков — фигура трагическая, принявшая на се-

бя искупительный грех (а быть может, подвиг?) «очищения России через кровь» (голоса из литературного салона Зинаиды Гиппиус и Мережковского).

Савинков — фигура фанатическая, душа террора, карающая длань партии, без пощады и промаха разящая великих князей, министров и губернаторов (не голоса — шепот).

Савинков — фигура проблематическая, философствующий интеллигент, автор претенциозного романа «Конь бледный» и декадентских стихов среднего качества (голоса скептиков).

И, наконец, Савинков — фигура клиническая, садист, фразер и позер, подпольный донжуан, авантюрист и прочее, и прочее, и прочее... (голоса недоброжелателей).

Сколько определений, противоречащих друг другу! Чему верить? Я верила себе. Человек этот был мне антипатичен с первого взгляда, я не умела объяснить, почему. Сочетать его мысленно с образом Евгении Ивановны мне было неприятно.

* *
*

Этой же зимой, в конце февраля, студия наша была подвергнута ночному обыску.

Случилось это так неожиданно, что сама хозяйка, пожилая художница, отворявшая дверь понятным и жандармам, приняла их сначала за ряженных. Дело было на масленице, в самый разгар маскарадов.

— Входите, входите, — приветливо восклицала она, эта наивная и близорукая дама, одной рукой запахивая японский халат, другой наспех срывая с головы бумажные папильотки, — входите, сейчас организуем ужин!

Но все было организовано само собой, без какого-либо участия хозяйки и с быстротой налетевшего шквала: книги в шкафах перерыты и сброшены с полок; ящики столов взломаны, хранящиеся в них бумаги, документы вышвырнуты и разбросаны по полу; мольберты опрокинуты друг на друга, наподобие баррикад, холсты, подрамники, этюды, рисунки в папках и без папок — все свалено в кучу и сверху, неизвестно зачем, придавлено опрокинутым комодом.

Этот разгром встретил студийцев, пришедших утром на занятия. Евгении Ивановны не было среди них. В мастерской она больше не появлялась и на много лет скрылась с моего горизонта. Позднее дошел до меня слух, что, разойдясь с мужем, она уехала за границу вслед за Савинковым.

III

Перерыв более чем в тринадцать лет отделяет эту главу от предыдущей.

С Евгенией Ивановной нам довелось встретиться в Париже, году в двадцатом и в обстановке довольно экзотической, на просмотре весенних моделей у портнихи Жанны Ланвен.

Две богатые эмигрантские дамы, затащившие меня на это сборище парижских модниц, покровительствовали в то время моим трудовым начинаниям: я только что окончила курсы кройки и шитья и, приобретя несколько не слишком прихотливых заказчиц из русской колонии, принялась обшивать их, как умела, облегчая этим материальное положение семьи.

В салоне Жанны Ланвен публика разместилась в комфортабельных креслах полукругом, вдоль стен, оставляя посередине обширное пространство, затяну-

тое серебристым бобриком. По нему бесшумно скользили худощавые женщины «нечеловеческой красоты» (как сказал бы Толстой). Они то останавливались на минуту, замирая в изысканных позах, то, снова меняя их в бесконечном движении, похожем на танец, плыли по кругу, равнодушные и прелестные. То, что было надето на их удлинённых, зыбких телах, даже нельзя было назвать просто — платьем. Это была скорее фантастическая идея платья, осуществлённая иллюзия, солидно при этом проработанная мастерами-профессионалами.

Каждая модель имела название и номер. Мне запомнилась одна, из струящейся ткани лунного цвета, имевшая астрономическое название «Млечный Путь». У манекенщицы, демонстрирующей эту модель, ногти были выкрашены в голубой цвет. Запомнился также чёрный казакин на огненной подкладке, носящий название «лё большевик». Эта модель вызвала аплодисменты у публики, а у дамы, сидящей по соседству, веселый смех и возглас по-русски: «Это бесподобно!» — обращенный к моим спутницам.

Лицо дамы показалось мне знакомым, а когда в перерыве нас представили друг другу, я не без труда узнала в ней Евгению Ивановну Сомову, ныне м-м Савинкову, хозяйку известного в Париже эмигрантского салона, с ориентацией вначале на Колчака, а позднее на польского генерала Пилсудского. Салон этот считался влиятельным, вероятно потому, что его посещали иностранцы.

При встрече со мной Евгения Ивановна проявила любезность, даже чрезмерную, как мне показалось. Во всяком случае, наши встречи в прошлом, довольно поверхностные, никак не объясняли ту экзальтацию, какую она сразу обрушила на меня.

Записывая мой адрес в кожаном блокнотике, она спросила:

— Вы не находите, что мужей наших необходимо познакомиться? — И, не дожидаясь ответа, прибавила: — Если позволите, я заеду к вам на этих днях.

Она не захала «на этих днях». Она поднялась на другой же день на пятый этаж нашей мансарды, чтобы познакомиться с Толстым и обоим нас тут же пригласить к себе на обед.

* *

*

По всем признакам, обед этот был официальным, одним из тех, для которых сотрапезники подбираются неспроста, а по резонам зашифрованным и порой неясным для самой хозяйки. Почему приглашены были мы с Толстым, оставалось только гадать и догадываться.

За столом, сервированным по-европейски, блистали генеральские мундиры трех наций — Франции, Англии и Польши. На фоне этого военного великолепия гости в штатском (немногочисленные русские эмигранты с женами) выглядели как персонажи второстепенные. Преобладала французская речь. Кое-кому на помощь приходила хозяйка, быстро и неумоимо переводившая с русского на французский и обратно.

За обедом хозяин был моим визави, и мне удалось разглядеть его лучше на этот раз, чем при двух первых мимолетных встречах в Петербурге. Передо мной сидел стандартный европеец в смокинге, со стандартным лицом и такой же улыбкой, и хотя он по-светски учтиво делил свое хозяйское внимание между соседом слева и соседом справа, холодная замкнутость его лица-маски оставалась неизменной и, казалось, скрывала за собой все что угодно. Даже заурядность этой маски казалась мне преднамеренной, как опасная ми-

микрия: пройдешь мимо — ничего не заметишь, а враг окажется рядом, за твоим плечом.

Известно, что гусеница мгновенно сжимается в тугой комочек от любого прикосновения. Черепаха поджимает ноги и втягивает голову под твердый панцирь, чуя опасность. Нечто подобное испытала я, глядя на Савинкова.

Я чувствовала, как все десять пальцев на моих ногах инстинктивно поджимаются в атавистическом жесте самозащиты, свойственном всему живому.

Вероятно, это была реакция воображения, напуганного в свое время неумеренным гиньолем¹ рассказов, слухов, легенд и сплетен, скопившихся вокруг этого человека, «организатора сенсационных убийств».

Между тем обед длился своим чередом, чинно, благопристойно и не слишком оживленно. Он закончился двумя тостами. Первый поднят был одним из генералов — за Россию, второй — хозяином обеда за бескорыстных друзей.

Затем общество разделилось на две группы: военные и кое-кто из штатских (Толстой в их числе) приглашены были хозяином пить кофе в кабинет. В гостиной остались дамы и какие-то незначительные молодые люди, призванные развлекать их. Свое призвание молодые люди выполняли старательно и умело. Болтать с ними было легко, ибо снова перешли на русский язык, к тому же из болтовни этой удавалось почерпнуть целую уйму сведений. Я узнала, например, о последних причудах Иды Рубинштейн на сцене и в быту. О ссоре балетного антрепренера Дягилева с танцовщиком Нижинским. О докладе, прочитанном на днях в гостинице Риц знаменитым портным на тему

¹ В данном случае — ужасом (франц.).

«История декольте и его новые тенденции». Как утверждал докладчик, тенденции эти в летнем сезоне будут сосредоточены главным образом на спине, что поставит в затруднительное положение сутулых дам.

Так незаметно проходило время. Молодые люди были неистощимы, и неизвестно, сколько бы длилась эта «познавательная» болтовня, если бы дверь из кабинета не распахнулась вдруг и Толстой появился взволнованный и очень бледный. Он быстро подошел ко мне со словами:

— Едем домой, немедленно.

— Что случилось? — спросила я, вставая и следуя за ним в переднюю. Он не ответил, торопливо отыскивая наши пальто.

Хозяйка волновалась:

— Куда же вы так рано? Сейчас будет чай. Оставайтесь! — уговаривала она, не понимая внезапно-го бегства гостей.

Действительно, стремительность, с какой мы покидали этот дом, была похожа на бегство. Спускаясь по лестнице, я еле поспевала за Толстым.

— Скажи, что произошло? О чем шла речь в кабинете? — спросила я, как только мы оказались на улице.

Толстой резко повернулся ко мне, нагнулся к самому лицу, переспросил:

— О чем шла речь? В кабинете Россию продавали. Поняла? Про-да-ва-ли! — повторил он, с омерзением отчеканивая по слогам это слово.

— То есть как это — продавали?

— Как! Как! — передразнил Толстой. — А вот так: по частям, по кускам. Полякам — Минск? Пожалуйста! Англичанам — Баку? Пожалуйста! Французам — черта в ступе? Пожалуйста!

Он остановился посередине тротуара, словно задохнувшись, и вдруг выругался сугубо по-русски, солоно и так громогласно, так отчетливо, что шофер рядом стоящего такси (не русский ли?) высунулся из кабины и с веселым любопытством оглядел нас.

Мы перешли на другую сторону улицы. Возвращаться домой я решила пешком. Дорога от Больших Бульваров до Пасси длинная, и я надеялась, что прогулка эта успокоит немного Толстого. Так и случилось.

Мы шли вдоль набережной Сены, под зацветающими каштанами, и мирное очарование весенней теплой ночи было так непреодолимо, что не поддаться ему не было никакой возможности. К тому же отечественный фольклор, к которому Толстой прибегал очень редко, разрядил, видимо, накипевшую ярость его чувств и вернул равновесие.

По дороге к дому он рассказал мне, что в кабинете у Савинкова речь шла о какой-то «третьей России», намечались по карте ее границы, причем Белоруссия отходила к Польше, Кавказ к англичанам, судьба же Мурманска осталась для Толстого невыясненной, поскольку он выскочил из кабинета, не в силах более оставаться в нем.

— Выдумали «третью Россию», — возмущался по дороге Толстой, — а что это такое, позвольте вас спросить? Почему третья, а не пятая, не десятая? Что за бред собачий? — Он даже остановился, энергично сплюнул в сторону. — Делят, продают, торгуют... Это все равно что созвездиями торговать, — он указал тростью на небо в крупных звездах, — вот взять оттяпать хвост Большой Медведице и продавать его по кускам в розницу...

— Покупателей не найдется, пожалуй, — заметила я.

— Дураки всегда найдутся,— ответил Толстой.

Мне представилась очередь дураков за хвостом Большой Медведицы. Это рассмешило обоих.

Облокотясь на парапет набережной, Толстой вынул трубку, не спеша прочистил ее, набил кэпстеном. Я хорошо знала, ничто так не успокаивает нервы курильщикам, как эта нехитрая процедура, и потому терпеливо ожидала ее окончания.

Затянувшись несколько раз, помолчав минутку, он сказал спокойно:

— К Савинковым я больше ни ногой. Это — твердо.

— Разумеется, ни ногой,— согласилась я и, чтобы отвлечь его мысли от границ «третьей России», принялась рассказывать со всеми подробностями о новых границах спинного декольте, только что утвержденных парижским законодателем мод Полем Пуарэ.

Слушая меня, Толстой весело похмыкивал, а это означало, как всегда, что барометр его настроения снова стоит на должной высоте.

Начинало светать, когда мы поднялись к себе на пятый этаж.

Толстой распахнул все двери на узкий балкон, огибавший нашу мансарду, как паропроводную трубу, и сразу в комнаты влилось много неба, розовеющего от близкой зари.

Вчерашний день с его кощунством, с его волнениями померк, ушел в небытие и вспоминать о нем не хотелось.

С Савинковым больше мы не встречались, несмотря на неоднократные приглашения со стороны Евгении Ивановны и попытки возобновить прерванное знакомство.

ЛЕТО В КАМБЕ

(1921)

«Союз городов», он же одновременно и «Земский союз», возглавляемый Василием Вырубовым в годы империалистической войны, существует в Париже до сих пор. Его теперешние функции мне непонятны. Ясно одно — учреждение это агонизирует на остатки больших денег. Около него кормится немало эмигрантов, и хозяйничает в нем Тихон Полнер. Остальное — тайна.

* *

* .

Пришел Балавинский и рассказал под строжайшим секретом следующее: чтобы вложить остатки капитала в недвижимость, приносящую доход, «Союз городов» купил имение в окрестностях Бордо. Доход — виноградники, фруктовый сад и птичья ферма. Дом стар, но пригоден для жилья. Очень красива вековая аллея каштанов, ведущая к нему. Вероятно, поэтому имение называется «Маронье»¹. Союз командирует трех человек из эмиграции управлять имением — Балавинского, Михаила Бакунина и Володю Ладыженского. Ближайший городок — Камб, на берегу реки Гаронны. Место живописное, сухое, жизнь дешева, климат здоровый.

— Приезжайте с детьми на дачу в Камб. Можно снять для вас небольшой дом с садом, — говорит Балавинский, — согласны?

Я согласилась.

¹ Маронье (Les Marronniers) — каштаны (франц.).

1921 г., август

Вот уже две недели, как я в Камбе. Мое утро начинается так: в щелку жалюзи врывается солнечный луч, ветерок колышет белую штору, за окном скрипит тележка торговки, мадам Шибале. Затем в дверь спальни стучит кухарка Фернанда:

— Не купит ли мадам угрей?

Накинув халат, я спускаюсь в кухню. На каменном полу толстая мадам Шибале уже разложила свои корзины. В одной из них на сырых виноградных листьях копошатся жирные змеи.

— Они сегодня особенно хороши, — тараторит мадам Шибале, встряхивая угрей, — матлот а-ля бордолез¹, ничего не может быть лучше, мадам. Не пожалейте только чесноку и эстрагону.

Купленные угри расплазуются по полу. Фернанда ловит их за хвосты и, размахнувшись, как бичом, шлепает головой о каменный пол кухни.

— О, это весело убивать их, — кричит она, красная от возбуждения, — я с детства люблю это!

Размозжив головки, она ловко подрезает кожу вокруг шеи и стягивает ее к хвосту одним движением, как перчатку. Ободранные угри оказываются нежно-голубыми. Брошенные в ведро с водой, они еще копошатся в последних судорогах. Пол забрызган кровью. Фернанда смеется, подтирая его:

— Voilà un Verdun!²

«Не Верден, а погром», — думаю я и убегаю из кухни с омерзительным чувством тошноты. Неужели придется есть эту матлот а-ля бордолез за обедом?

¹ Рыба под винным соусом по-бордоски (франц.).

² Вот настоящий Верден! (Франц.)

Иду в сад. Под деревом маленький Никита топчет босыми ножками перезрелые фиги.

— Я делаю ванданж¹, мама!

Делаю ванданж! На каком языке разговаривает мой четырехлетний сын? А вчера он спросил меня: что такое «сугрооп»? И в самом деле, откуда знать маленькому беженцу, что такое сугроб?

В саду я долго стою, растирая в пальцах и нюхая листик вербены. Как хорош вид отсюда на долину Гаронны! Мир, тишина, зной. Сизо-голубая зелень виноградников, взбрызнутая кое-где купоросом, холмы, холмы до самого горизонта. Этот край — колыбель французского виноделия, Мекка и Медина всех пьяниц мира. Налево за горой — местечко Кенсак, направо — Медон, а там, за поворотом реки, — знаменитый Барзак. Миниатюрная железнодорожная ветка соединяет эти города в один бесконечный виноградник. Увитые дикими розами станции похожи одна на другую. Надписи на них, как этикетки на винных бутылках, знакомые с давних пор.

* *

*

Засыпаю рано, как дети,
Просыпаюсь с первыми птицами,
И стихи пишу на рассвете,
И в тетрадь между страницами,
Как закладку красного шелка,
Я кладу виноградный лист.
Разгорается золотом шелка
Между ставнями. Белый батист
Занавески ветер колышет,
Словно утро в окно мое дышит
Благовоньем долин
И о новой заре лепечет.

¹ В а н д а н ж (vandange) — пора сбора винограда и приготовления из него вина (франц.).

Встать. Холодной воды кувшин
Опрокинуть на сонные плечи,
Чтобы утра веселый озноб
Залил светом ночные трещинки.
А потом так запеть, чтобы песни потоп
Всех дроздов затопил в орешнике!

* *

*

В Маронье жизнь бьет ключом. Новые хозяева с азартом принялись за дело. У каждого за плечами некий помещичий опыт, и каждый торопится обогатить им новое хозяйство.

Володя Ладыженский — поэт, пучеглазый старичок детского телосложения — промотал в свое время два имения в Пензенской губернии. Сейчас он возглавляет птичник в Маронье. Он изобрел какую-то «тюрю» из простокваши, хлебных крошек, круп и салата, которая, по его расчетам, должна в скором времени превратить здешних кур в Брунгильд, кладущих исполинские яйца.

Бакунину поручен фруктовый сад и виноградники.

Что делает Балавинский? Он представляет и, сносно грацируя по-французски, принимает и отдает визиты мэру города Камба, нотариусу, кюре и аптекарю. Каждое утро, кроме того, он приносит мне корзинку персиков и утомительно долго сидит в беседке, пристально, глазами верного сеттера, глядя в лицо.

* *

*

По вечерам в кухне за большим столом собираются новые хозяева Маронье. День трудов закончен. Пылает очаг. Поблескивает старый фаянс и медь на полках. На столе персики, вино в кувшине, хлеб и сыр.

— Чем не голландский натюрморт? — любитесь

Балавинский. Он, как всегда, больше всего озабочен эстетической стороной дела.

Бакунин пощипывает гитару. Его цыганское лицо, освещенное огнем очага, очень живописно на фоне старой кухни,— прямо Франц Гальс, да и только. Бакунин напевает:

О бедном гусаре замолвите слово,
Ваш муж не пускает меня на постой,
Но женское сердце добрее мужского
И сжалится, верно, оно надо мной...

— Эх, все бы винограды отдал за хорошую тверскую боровинку с кваском! — мечтательно говорит Балавинский.— Пейте вино, милая барыня.

Володя Ладыженский в это время, оттопырив губу, измеряет сантиметром яйца сегодняшней носки.

— Не цыплята будут, а титаны, убей меня бог,— бормочет он,— я на этом деле собаку съел.

Я гляжу на них, и мне все это кажется игрой, как в детстве: давайте играть в имение! Чур — я хозяин! Нет — я.

Но думать на эту тему неприятно. Я встаю и прошу Балавинского проводить меня. Мы молча спускаемся с горы. В темноте горят светляки. Терпкий запах от виноградников — это зреет вино. Скоро ванданж.

* *

*

Мы гуляли с Никитой далеко по шоссе. Вышли за окраину города. Медовая заря заливала небо. Навстречу шли шахтеры с корзиночками шампиньонов. Их собирают в местных карьерах, глубоко под землей. Я купила грибов.

Никита бежал впереди, воображая себя паровозом. Он двигал рукой, как рычагом, шипел, пуская пар,

свистел, тормозил. Бедняжка! Это, верно, нелегко в продолжение такой длинной прогулки быть паровозом. Под конец он устал, повис на моей руке и начал капризничать.

Мы повернули назад. У входа в город я прочла надпись на столбе. Мэр города извещал путников, что бродягам, цыганам и нищим проход воспрещен.

— А мы,— забеспокоился вдруг Никита,— а мы, мама?

— Ну, разумеется,— ответила я не сразу,— мы не бродяги, не цыгане и не нищие. Какие глупости ты спрашиваешь!

Назад шли молча. Никита притих, и оба мы были в чем-то не уверены.

* *

*

Толстой приехал из Парижа. Он плохо выглядел. Устал, озабочен. Вечером он читал мне только что написанный конец романа «Сестры», последнюю главу. Как всегда, у него неладно с концом. Отчего это? Не сам ли говорил: кончая большую вещь, необходимо как бы подняться над нею, чтобы снова увидеть всю с начала до конца (как с горы — пройденный путь),— тогда конец будет верный, пропорции соблюдены, и вся вещь крепко станет на ноги. У него же конец случаен. Не оттого ли это, что он устал, переработал? Он торопится под конец — вот это ужасно.

— Отдохни. Отложи работу.

Он вдруг вспыллил.

— Пиши сама,— крикнул он,— и ну его к лешему!

Он схватил рукопись, в бешенстве разорвал последние листы и бросил за окно:

— Подышайте с голоду!

Хлопнув дверью, он вышел.

Мы с детьми долго ползали по саду, подбирая в темноте белые клочки. Балавинский ползал с нами на подагрических коленках. Мы склеили всё и положили на стол. Толстой вернулся через час. Он молча сел к столу и работал до света. Я сварила ему крепкого кофе. Он кончил роман коротко и сильно.

Как странно: человек с ведерком, клеящий афиши,— один этот образ сразу восстановил равновесие, и все вокруг обрело свое место.

Мне кажется, сам Толстой доволен теперь концом.

Мы помирились. Как могло быть иначе? Он заснул на рассвете. Я глядела на его лицо, серое от усталости. Трудно жить. Кому мы нужны здесь, мой бедный писатель?

Я вспомнила, как в Париже, на последнем обеде у князя Львова, мой сосед, гвардеец Родзянко, сказал:

— Будьте покойны, вернемся в Москву и всех ваших писак перевешаем. И Сашу Черного, и этого... как его? Андриюшу Белого, и красного, и зеленого... У нас на всех сучков хватит.

— Остается надеяться, что вы не вернетесь.

— Ого! Вы большевичка, графиня!— Он кокетливо погрозил пальцем. — Это женщинам не к лицу.

В разговор вмешался Стахович, старый дипломат и светский человек — по специальности.

— Прошу внимания, господа. Это — коньяк моих испанских погребов. (Он был когда-то послом в Мадриде.)

Я глядела на оттопыренный Родзянкин мизинец с бирюзой и думала: такой бы и Пушкина повесил, дай ему волю. И вероятно, у Дантеса было вот такое же лощенное, ничтожно-красивое лицо великосветского тулицы.

Почти через двадцать лет после описанного выше

Толстой в письме ко мне так объяснял первоначальную неудачу с концом романа «Сестры»:

«„Хождение по мукам“ я кончил в Камбе, где работал над последними главами около месяца,— писал он,— конец мне не удавался, и я его действительно однажды разорвал и выкинул в окно, и то, что мне не удавался конец, было закономерным и глубоким ощущением художника, так как уже тогда я начал понимать, что этот роман есть только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Вот откуда происходила неудача с концом, а не оттого, что я не мог «взойти на гору, чтобы оглянуть пройденное». На какую гору мог бы взойти художник, когда он начал понимать, что он в тумане, в потемках, что все стало неясным, что понимание должно раскрыться где-то в будущем».

И дальше:

«...роман этот никогда, даже при последующих доработках, не был закончен, да и по существу не мог быть закончен, так как он только первая часть трилогии».

Таков ретроспективный авторский самоанализ, конечно, самый верный и точный. Но созреть он мог только через много лет. Время в данном случае и оказалось той горой, с которой все пройденное оглянуто и оценено и потому понято. Записки же мои относятся к 1921 году. Они целиком живут в том времени, когда оба мы «блуждали в потемках», чувствуя, что «понимание должно раскрыться где-то в будущем». В то время конец романа «Сестры» был для нас подлинно концом книги, о чем свидетельствует письмо Толстого из Парижа: «Роман сдал. В редакции одобряют конец. Мне он тоже теперь нравится,— спасибо за бурную ночь» (намек на инцидент в Камбе).

Толстой ошибается, утверждая, что работал над концом романа в Камбе около месяца. В Камбе он прогостил дней десять, после чего уехал в Париж, с намерением сдать новую редакцию конца в журнал «Современные записки», а затем вернуться в Камб для отдыха.

* *

* *

Близок ванданж. В Маронье идут совещания и дебаты, как давить виноград. Старым ли испытанным крымским способом — босыми ногами или применить новые прессы. Ногами — дороже, прессом рискованно.

— Можно обесценить вино,— говорит Балавинский,— придав ему горечь перетертых косточек.

Но в Камбе давят прессом, и косточки дела не портят. Особый фильтр собирает их в желоб, в сторону от центрального пресса. После долгих споров давить виноград решено ногами.

— К тому же это и красивее,— убеждает всех Балавинский,— вы увидите, милая барыня, какая это прелесть сельский ванданж. Босые парни похожи на сатиров, крестьянки на вакханок в виноградных венках. Настоящая кермесса¹. Брейгель Мужичкий.

— Ну, полно, полно. Уж и Брейгель! Уж и Мужичкий! — урезонивает его Бакунин.— Ванданж — это прежде всего коммерческое дело.

* *

* *

Вечером мы с Никитой провожали отца на вокзале. Над черной дырой туннеля печально мигал зеленый фонарик. Летучие мыши низко пронеслись над нами, встревоженные белым пятном моего платья.

¹ Кермесса — фламандский праздник, пирушка.

— Пойми,— говорил Толстой, сжимая мне руку,— Европа — это кладбище. Я все время чувствую запах тления. До галлюцинаций. Здесь не только работать, здесь дышать нечем. Жить в окружении мертвецов! Ненавижу людей. Надо бежать отсюда.

— Куда бежать?

Он молчит. Мы словно боимся высказать все до конца.

— Из Парижа я напишу тебе,— говорит он.

Никита, которому давно пора спать, повис на моей руке, мечтательно глядя на огни светофоров.

— Мама, что будет, если машинист поедет на красный?

Я отвечаю машинально:

— Плохо будет.

— Будет катастрофф? — допытывается Никита.

— Не катастрофф, а катастрофа,— обрывает отец с раздражением,— он черт знает как говорит по-русски! Почему ты не поправляешь? Любопытно все же знать, кого мы растим? Гражданина какой страны? Никита француз? Нет! Никита человек без национальности, без языка. Стерильный человек. Это страшно.

— Нет. Никита русский,— говорю я, глядя голову сына,— за это мы с тобой отвечаем.

— А что будут знать о своей стране вот эти, подрастающие? Блины рюсс, тройка рюсс... Ассоциации кабака в Пасси? Не больше. Даже меланхолии эмигрантской не сохранит это поколение. Стерильные люди.

Он махнул рукой.

Мне было больно его слушать. Хотелось возражать. Хотелось говорить до конца. Но человечек с фонарем, пробегая мимо, крикнул:

— En voiture! ¹

Мы наспех простились.

Что за дурацкая русская привычка говорить о главном в передней, у дверей вагона!

Я только и успела сказать ему:

— Все будет хорошо. Верь мне.

— Жди письма! — крикнул он из окна вагона, и поезд нырнул в туннель.

* *
*

У кур понос. В тюрю прибавляют салол, но пока безуспешно. Володя бодрится.

— Все предусмотрено, — говорит он, — все в порядке вещей.

Несмотря на это, Зигфрид, чахлый цыпленок, вчера подох.

— Не говорите об этом вслух, — просит Балавинский, — будем деликатны. Володя слишком принимает к сердцу птичьих дела. Ведь он — поэт. Его «Вестник Европы» печатал когда-то. С курами он перемудрил. Разумнее было бы взять птичницу на его место, а ему поручить надзор ну хотя бы за грушами. Это красивая и легкая работа.

— Да, груши — это безобидно, — соглашаюсь я.

Зато Бакунин весел и готовится к сбору винограда. Промыты и проветрены исполинские бочки. Починены помосты с желобами. Наняты люди. Сам он ходит, как певец перед бенефисом.

— Наш Бахус! — дразнит его Балавинский. — Главное, ты следи, чтобы ноги были вымыты. А мух не гони. Я читал, от мух вино лучше бродит.

¹ По вагонам! (Франц.)

* *

*

В Маронье нанята новая птичница — здоровая, рослая девушка, пропахшая чесноком. Она милостива. У нее блестящие черные волосы. Здешние крестьянки не моют волос. Они говорят: грех смывать воду святого крещения с головы. Если волосы грязные, их прочищают прованским маслом.

* *

*

И вот наступает ванданж. С раннего утра по городу тархтят телеги в лентах и цветах. Поют песни. Катят с грохотом пустые бочки. Корзины винограда источают упоительный запах той последней зрелости, которая вот-вот перейдет в тление, в хмельное брожение вина. Корзины с виноградом теснятся повсюду, их тащат и старики, и женщины, и дети. Кажется, весь город несет эту повинность благоговейно, как ритуальный обряд. Земля рождает вино.

* *

*

На помосте в Маронье на скользких гудах винограда топчутся босоногие парни в беретах. Их пять человек. Они держатся за руки, размеренно вихляя задрами и ввинчиваясь босыми пятками в сырую кашу ягод. На сатиров они мало похожи, скорее на полотеров. Пенная струя из-под ног их стекает в круглый желоб и оттуда в бочку. Жарко. Над помостом выются мухи. Женщины подносят все новые корзины и сваливают виноград под ноги давилщикам. К середине дня парни тонут по колена в винограде. Сваливать больше некуда. Нагруженные корзины громоздятся вокруг помоста.

— А ну-ка живее, мальчики! — подгоняет Бакунин.

— Les pieds, je n'en ai que deux! ¹ — огрызается тот, что помоложе, с лицом веселого озорника. Остальные хохочут. И в самом деле, работа не такая, чтобы торопиться. А виноград все несут, все несут...

— Пожалуй, прессом было бы скорее, — замечает слегка растерянный Балавинский.

Бакунин зол.

— Вот вам — Брейгель Мужичкий, любуйтесь, — говорит он желчно и добавляет простое русское слово.

* . *

*

Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы винный откупщик из Бордо не купил вчера незаконченный ванданж в Маронье, весь виноград на корню. Торговались недолго. Балавинский доволен сделкой.

— С самого начала бы так, — говорит он, — без хлопот и почти без убытка.

После продажи винограда все облегченно вздохнули, повеселели. У всех появился досуг. Бакунин ходит петухом вокруг новой птичницы. Володя пишет стихи о Дионисе. Балавинский целыми днями сидит у меня в беседке.

Вчера мы ходили с ним в гору к старому замку Дюфор. Был нежаркий осенний денек. Мы долго рассматривали величественные развалины, потом сидели на широких каменных ступенях у обрыва, ловили ящериц. Балавинский рассказывал о своем детстве, о родных, о семье. Его бабка — Оленина, та самая, про которую Пушкин писал: «Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой».

¹ А у меня всего две ноги! (Франц.)

По его словам, тверское дворянство было самым либеральным и прогрессивным в России.

— А сейчас надо танцевать снова от печки нам, дворянам.

— Зачем же от печки?

— Затем, что больше неоткуда.

— Так ведь и печки-то больше нету!

— Действительно нету,— смеется он.

Над башнями старого замка плавают коршуны. Внизу лента Гаронны огибает холмы. Тишина, печаль. Если бы кто-нибудь знал, как я жду письма из Парижа!

— А виноград-то мы просвистали,— объявляет вдруг Балавинский.

— Просвистали,— соглашаюсь я,— что скажет Тихон?

— Je m'en fiche¹ на Тихона.— И Балавинский принимается насвистывать что-то уж слишком беззаботное.

Я долго и молча его слушаю. Слушаю, как мирно ударяет кирка в каменоломне за горой, как понукает мальчишка ослика, бредущего по шоссе: гюй-ип, гюй-ип!

— В сущности, какой я винодел!— удивляется Балавинский после долгой паузы.— Всю жизнь умел только пить вино, а не торговать им. Это благороднее и много приятнее, представьте себе.

— Представляю.

— Э-эх, много дорог искожено, милая барыня, и все привели под конец к узкой тропинке. А тропинка сюда, вот к этим чужим развалинам на чужой земле.

¹ Плевать мне... (Франц.)

— «Аркадий, не говори красиво», — смеюсь я, — помните у Тургенева?

— Не буду.

Он садится спиной ко мне и надолго замолкает. Уж не обиделся ли? Нет. Надев пенсне, он внимательно разглядывает голову ящерицы, зажатую в кулаке, потом протягивает ее мне.

— Смотрите, не дышит с перепугу.

— Отпустите ее, мучитель!

Но пока он готовится чуть-чуть разжать пальцы, ящерица, выскользнув, уже исчезает с быстротой светового блика. Балавинский немного растерян. Вытирает зачем-то ладонь носовым платком.

— Вот и ящерицу просвистал, — вздыхает он, — эх, уж коли не везет...

Потом подпирает щеку рукой и долго сидит так, пригорюнясь. Ветер шевелит его редкую проседь. Я вижу склеротические жилки на щеке. Конченный человек. И от какой печки собирается он танцевать?



Сегодня за утренним кофе мне подали письмо из Парижа. Толстой пишет: «Жизнь сдвинулась с мертвой точки. В знакомых салонах по сему случаю переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя, — надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл этих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин, и если хочешь, то дальше».

Я стою, словно оглушенная. Если хочешь, то дальше... Дальше. Разве могут быть колебания? Нет. Жизнь сдвинулась с мертвой точки, и остановить ее нельзя. Мы едем дальше.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

— У нас гости в столовой,— сказал Толстой, взглянув в мою комнату,— Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», крошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этуод Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда — фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

— Что мышата на жердочке,— сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он

читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такою же милою мне, как и все в его облике.

В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:

— Я к вам опять приду. Ладно?

— Приходите, — откликнулась я.

Но больше он не пришел.

* *
*

Это было весной 1917 года, в Москве, и только через пять лет мы встретились снова в Берлине, на тротуарах Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке — цилиндр, в петлице — хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.

Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты... Вот встреча! Сидора, смотри кто...

— Qui est-ce? ¹ — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

¹ Кто это? (Франц.)

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились еще больше, наливаясь слезами.

— Сидора! — тормозил ее Есенин.— Сидора, что ты?

— Oh,— простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты.— Oh, oh!..— И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого — фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора,— кричал он,— подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Reags'a известен всему миру. Вы помните эту рекламу? Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.



В этот год Горький жил в Берлине.

— Зовите меня на Есенина,— сказал он однажды,— интересуется меня этот человек.

Было решено устроить завтрак в пансионе Фишер, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой, с балконом на Курфюрстендам, накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были: Айседора Дункан, Есенин и Горький.

Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака. Первое — это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет, как мальчик, Горький присматривается к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

— За русски революсс! — шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан.— Ecoutez ¹, Горки! Я будет тансоват seulement ² для русски революсс. Cest beau ³, русски революсс!

¹ Послушайте (франц.).

² Только (франц.).

³ Это прекрасно (франц.).

Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал — удачную премьеру. Это она — зря. — Помолчав, он добавил: — А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее написанное им. Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них, стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один продвигался вперед закаленный, уверенный в цели; другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь, — растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкесске, с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная Менада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге, пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?

* *

*

Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.

Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города. Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sonntagskleid*, свои новые, ни разу не бывавшие в употреблении зонтики и перчатки, солидные трости, сигары, сумки, мучительную, щегольскую обувь, воскресные котелки. Железные ставни были опущены на витрины магазинов, и от этого город казался просторнее и чище.

Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-g-rwa...¹ — лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.

— Любит, чтобы ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин, — нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

— А вы бьете? — спросила я.

— Она сама дерется, — засмеялся он уклончиво.

— Как вы объясняетесь, не зная языка?

— А вот так: моя — твоя, моя — твоя... — И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. — Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?

* Воскресное платье (нем.).

¹ Скажи мне сука, скажи мне стерва (смесь франц. с русским).

* *

*

За столом в ресторане Луна-парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак.

Вокруг немецкие бургеры пили свое законное воскресное пиво. Труба ресторанного джаза пронзительно-печально пела в вечернем небе. На деревянных скалах грохотали вагонетки, свергая визжащих людей в проверенные бездны. Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем. Рядом грохотало знаменитое «железное море», вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах. Несомненно, бредовая фантазия какого-то мрачного мизантропа изобрела этот железный аттракцион, гордость Берлина! В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках. Станный садизм лежал в основе большинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Его узнали в толпе, и любопытные ходили за ним, как за аттракционом. Он простился с нами и уехал домой.

* *

*

Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, невесело, по-русски пьян, философствуя и скандаля. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким.

— А ну их к собачьей матери, умников! — отводил он душу, чокаясь с Кусиковым.— Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Она, брат, умных не любит! Пей, Сашка!

Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер.



Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлен» на Унтер ден Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое дает возможность пренебрежительно к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве совместно с Есениным, требовало денег, тем более что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.

Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий от того, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно подразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось, пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пире?

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уланд-штрассе, — сказал он весело, — Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий, семейный пансион на Уланд-штрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные круж-

ки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— *Quittez ce bordel immédiatement,*— сказала она ему спокойно, — *el suivez-moi*¹.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за нею. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомиться поэта с готикой знаменитых соборов.

¹ Немедленно оставьте этот бордель и следуйте за мной (франц.).

Часть пятая

Из воспоминаний од Алексея Толстого

Торжественна и тяжела
Плита, придавившая плоско
Могилу твою, а была
Обещана сердцу березка.

К ней, к вечно зеленой вдали
Шли в ногу мы долго и дружно,—
Ты помнишь? И вот — не дошли.
Но плакать об этом не нужно.

Ведь жизнь мудрена, и труды
Предвижу немалые внукам:
Распутать и наши следы
В хождениях вечных по мукам.

О СУДЬБЕ «СЕСТЕР»

Однажды летом в немецком курорте Миздрой, когда мы лежали на пляже, он зарыл в песок мою руку.

— Похоронил, — пошутила я.

Но он шутки не принял, взглянул странно-серьезно, потом быстро разрыл песок, откопал руку.

Мы долго молчали после этого.

Задумчиво пересыпая песок из ладони в ладонь, он следил за струйкой, бегущей между пальцами. Я угадывала его мысли и, чтобы отвлечь их, спросила, кого из героинь своих он любит больше, Дашу или Катю.

— Вот уж не знаю, — ответил он, — Катя — синица, Даша — козерог, как тебе известно.

В лексиконе нашем «козерог» и «синица» были обозначением двух различных женских характеров. Непростота, самолюбивый зажим чувств, всевозможные сложности — это называлось «козерог». Женственность, ясная и милосердная, — это называлось «синица».

Мы поняли друг друга и посмеялись. Потом он сказал, что серьезно озабочен дальнейшей судьбой сестер. Одну надо провести благополучно через всю трилогию (Дашу), другая должна кончить трагически (Катя). Но ему по-человечески жаль губить Катю.

— А ты не губи.

— Не знаю. Чего-нибудь придумаю, — ответил он как бы нехотя и тут же помянул про Махно: Катя попадает в плен к нему. — Давно я нацеливаюсь на этого живоглота, — сказал он весело.

— Ну, а Катя? Что же дальше с ней?

Но он сразу замкнулся.

Я поняла, что дальше расспрашивать нельзя.

И только через шесть лет после этого разговора Толстой приступил к работе над «18-м годом».

О «ДРЕВНЕМ ПУТИ»

Поздно вечером, на Ждановке, когда я уже легла, он пришел ко мне мрачный и сразу стал жаловаться:

— Ты вот лежишь тут преспокойно с французским романчиком, а я...

— Что такое?

— Я несчастный человек. Нужен рассказ, строк на триста. Это зарез, пойми. Короткие рассказы писать не умею. К черту. Пусть воробей пишет. А тут еще грипп проклятуший привязался...

Он чихал, чертыхался, нахлобучил лыжную шапку на лоб. Потом сказал сварливо:

— Вот, пошевели-ка мозгами, дай тему.

Он был опустошен предыдущей большой работой (не помню сейчас, какой). Усталый, полубольной, весь какой-то разобитый. Хотелось помочь ему, но как? Рассказ нужен к сроку. Аванс под него, разумеется, уже взят и прожит.

— Давай подумаем, — сказала я.

Мне пришло в голову натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила я. — Грозу над ним?

— Ну?

Вероятно, я говорила очень путано, сама плохо понимала, что к чему. Я напонила ему днища опрокинутых пароходов у берегов Трои, оливы на плоскогорьях Имброса и красные поросли маков, мимо которых мы плыли так близко.

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу, сверху вниз, словно снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние эти берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно.

Медленно отвинтил «паркер», полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом простился и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста.

Откуда взялся Поль Торен, умирающий французский офицер, герой рассказа? Чтобы понять это, надо оглянуться назад, развернуть и проследить обратный ход ассоциаций: гражданская война, Одесса, французская интервенция девятнадцатого года.

А носатые низкорослые греки, плывущие под парусами мимо древних пастухов-пелазгов,— откуда они?

Помню, на одной из греческих ваз, в залах Лувра, Толстой указал мне однажды цепочку крутобоких кораблей с высокими гребнями. Черные силуэты пловцов под парусами были четки и как-то трагически выразительны.

— Похоже на то, что и у этих гиперборейцев не все благополучно с бытием,— заметил Толстой,—

смотри, с каким отчаянием поднимают они руки к небу! — И, помолчав, добавил полувопросительно: — Завоеватели, купцы или просто искатели Золотого Руна?

Он долго рассматривал вазу, обходя ее со всех сторон, любуясь ею и, кто знает, быть может, уже откладывая впрок, в кладовые подсознания, драгоценный осадок своих впечатлений. Некоторые страницы «Древнего пути» дают основание предполагать, что так это и было.

В высокой мере Толстой обладал тем, что можно назвать исторической мечтательностью. Не отсюда ли склонность его к исторической теме, умение заражаться далеким прошлым, чувствовать время «позади себя», реалистически, плотски, до зрительных галлюцинаций?

Но самое главное в «Древнем пути» — центр рассказа, его мозг, — это предсмертные раздумья Поля Торена, участника двух войн, вначале империалистической, а затем гражданской, на юге России в карательной экспедиции интервентов. Это — послевоенные раздумья умного европейца-гуманиста, под ногами которого шатается последний камень устоев. Мне думается, что исток этих раздумий берет свое начало там же, где зародились и первые сомнения самого Толстого, круто повернувшие в дальнейшем личную его жизнь и творческую судьбу.

Приходят на ум невольные сопоставления: ведь те же впечатления, что дали толчок для создания «Древнего пути», были использованы и мною, по мере сил, в главе воспоминаний. Но что получилось? У меня закреплённые в повествовании события и образы сразу омертвели, как бабочки, посаженные на булавки.

Творческое зачатие не одухотворило моей работы,

и поэтому глава воспоминаний так и осталась главой воспоминаний — ничем больше.

А «Древний путь» Толстого ожил, живет и будет жить еще долго жизнью, преображенной в искусство.

О КРАСНОМ СЛОВЦЕ

Утренняя прогулка вокруг озера, по Екатерининскому парку. Мы остановились на мраморном мостике. Облокотясь о балюстраду, Толстой вычищает любимую трубку; долго ковыряет в ней, выскребывает черную кашицу специальной лопаточкой, продувает трубку со свистом, затем постукивает ею по каблуку. Уютное мужское занятие, во время которого так хорошо думается. Понимая это, я помалкиваю рядом.

Пригревает апрельское солнце; кое-где деревья парка уже одеты в зеленую дымку. Озеро так светло, так неподвижно, что турецкая баня, опрокинутая в нем со своим минаретом, кажется не отражением, а двойником той, что стоит на берегу, и мы молча любуемся ею.

Наконец Толстой наладил трубку, закурил и, указав на Чесменскую колонну, стоящую перед нами в воде, сказал:

— Не помню, от кого я слышал про подземные ходы, идущие от этой колонны по таинственным направлениям. Любопытно бы прогуляться по ним когда-нибудь.

И он стал рассказывать о том, как, спустив воду, чистили при Екатерине Второй дно озера и мостили его булыжником. Не тогда ли ходы проложили?

— Представляешь,— продолжал он,— на какие сюрпризики можно натолкнуться в этих подземельях?

Какой придворный Рокамболь в них сокрыт? Следы скольких преступлений?

— И какая там сырость! — засмеялась я.

Он молчал, улыбаясь своим мыслям.

— Кончится дело тем, что напишу когда-нибудь роман с привидениями, с подземельем, с зарытыми кладами, со всякой чертовщиной. С детских лет не утолена эта мечта.

И когда мы, продолжая прогулку, стали медленно спускаться по мраморным ступенькам, добавил:

— Это вероятно оттого, что я мальчишкой Вальтера Скотта начитался. И сейчас, подсунь какой-нибудь его роман, не оторвусь. Упоительный писатель!

На обратном пути он был неразговорчив, и только у самого дома, когда подымались на крылечко, сказал:

— Насчет привидений — это, конечно, ерунда. Но, знаешь, без фантастики скучно все же художнику, благоразумно как-то.

А в передней, снимая пальто, прибавил не то шутя, не то всерьез:

— Художник по природе враль, вот в чем дело!

— Ну, а как же твой однофамилец? — спросила я. — Вот уж кто не враль.

— Ошибаешься. Старик врать умел почище любого из нас.

— Возьми «Анну Каренину». Там же все правда.

— А мужичонка в конце и в начале? Тот, что над рельсами по-французски бормочет? Это разве не выдуманно? И это гениально. И это дало крылья роману.

— Ну, если ты про такое вранье...

— Я про всякое, — окончил он разговор и, захватив по дороге кофейник, поднялся к себе наверх, в кабинет. Он работал в то время над романом «Черное золото».

Вскоре после этого, за утренним кофе в Детском Селе, восьмилетний сын наш был подвергнут семейной чистке за склонность преувеличивать, приукрашать, «заливать» по выражению старших братьев. Неожиданно для всех за него вступился отец.

— Это не беда, что заливает,— сказал он,— я в его возрасте тоже грешил этим. Пусть только не врет ради выгоды. А «заливание» — это первоначальная склонность к сочинительству. Грешок, свойственный фантазерам.

— Ради красного словца не пожалеет матери и отца,— продолжал кто-то из семейных обвинителей.

— Что ж, красное словцо тоже неплохая вещь,— засмеялся Толстой и, словно поддразнивая окружающих, добавил: — Красное словцо — это и есть искусство, если вам угодно знать. *Belles lettres*¹, в переводе на французский язык.

Все же, чтобы сын наш не слишком взбодрился от этих рассуждений, он закончил строго:

— А за вранье для выгоды — драть.

МИНОГИ

В этот день я выехала из Детского Села в Ленинград ранним поездом, как всегда переполненным. Приходилось стоять в проходе.

Нагруженная сумками и бесконечными поручениями, я примостилась у окна и принялась перечитывать свой блокнот. В блокноте стояло:

«1) В Госиздат (аванс у Чагина).

2) В «Советский писатель» (к Зое Никитиной).

¹ Изящная словесность (*франц.*).

- 3) Фининспектор.
- 4) Вино.
- 5) Миноги (подчеркнуто два раза).
- 6) Мите резинки.
- 7) Юлии — штопка.
- 8) Сухая горчица (подчеркнуто).

Алеше:

- 9) Лента для машины.
- 10) Взять из починки трубку.
- 11) Табак.
- 12) Обратный поезд — 5 ч. 30 м.*.

Самое неприятное в этом списке было — фининспектор. Самое тяжелое — вино. Самое трудное — миноги. Самое фантастическое — обратный поезд в 5 часов 30 минут.

Как успеть? А успеть надо, ибо сегодня в 7 часов в Детском Селе — обед, большие гости и «великое шумство», по выражению П. Е. Щеголева. Опоздать — значит сорвать обед.

Еще накануне вечером Алеша просил:

— Ты уж завтра как-нибудь постарайся, Наташа. Понимаешь, чтобы все ладненько было, — он делал неопределенно-округляющие движения обеими руками, — ну, одним словом, так, как ты умеешь. Главное, студень и миноги.

— Миног нет нигде, — сказала я.

— Катастрофа!! Я Лаврушку звал на миноги...

На лице его было отчаянье.

— Я постараюсь. Поищу.

— Буба, — сказал он с предельной нежностью в голосе, — на Фонтанке есть живорыбные садки. Там наверное есть миноги. Убежден, что есть.

— Зайду.

С утра я была настроена очень энергично. Решила

действовать, не теряя ни одной секунды. Все шло вначале довольно гладко. Чагин (приглашенный тоже на «шумство») безболезненно подписал ордер в кассу и осведомился, к которому часу приехать.

— К семи. Не опаздывайте,— сказала я, думая про себя: «Самой бы не опоздать!»

Зоя Никитина в «Советском писателе» оказалась более стойкой. Ее надо было «брать на обаяние». Но и это мне удалось в конце концов.

Зато фининспектор, зверь по фамилии Птицын, уперся с отсрочкой платежа и тут же проглотил сразу большую часть взятых сегодня авансов. Но это было неизбежно, как судьба. Огорчаться и сетовать было глупо.

Исполнив все мелкие поручения, я занялась миногами, и по сравнению с той затратой сил и энергии, какая ушла на них, все остальное мне показалось пустяком.

Миног не было нигде. Ни в живорыбных садках, ни на базарах, ни в магазинах. Что делать? Уже в пятом часу кто-то из знакомых, встреченных на улице, догадался послать меня на Клинский рынок, где я нашла наконец эту рыбу. На радостях я накупила ее столько, что едва смогла донести до трамвая.

На одной руке у меня висела сумка с вином, на другой — сумка с миногами, сверток с ними же был зажат под мышкой. Взбудораженная неожиданной удачей, я не замечала тяжести; я представляла себе, как будет доволен Алеша.

Подъезжая к вокзалу, я взглянула на часы. Две минуты до отхода поезда. Я приготовилась прыгнуть с подножки; сзади кто-то подтолкнул меня деревянным сундуком, я полетела прямо в грязь, в талый снег на мостовой.

Милиционер помог мне подняться. Промокшая, с разбитой коленкой я подбирала свои миноги, рассыпанные на мостовой. Тут же багровела в снегу лужа вокруг разбитой бутылки мукузани.

Уминая в сумку миноги, погружая руки в эту скользкую, змеиную кашу, я плакала от омерзения к ней, от жалости к себе, от обиды.

— Окаянная рыба! И на эту гадость убить деньги! В рот никогда не возьму... Будь она проклята!

Так, причитая, я все же подбирала и уминала и снова подбирала миноги до тех пор, пока не убедилась, что больше на мостовой их нет.

Тогда выяснилось, что потери мои, в сущности, невелики. Вино цело. Разбиты только бутылка мукузани и коленка.

Утешенная столь незначительным ущербом, я поплелась на вокзал. Конечно, на поезд в 5 часов 30 минут я опоздала. Следующий был в 6 часов 10 минут.

В буфете я села под пальмой, у столика, и сразу почувствовала, что устала. Колено болело, чулок был разорван. Варезжки мокрые, хоть выжми. Сырая шуба пахнет собакой. Я сидела в полном угнетении.

Передо мной вдоль пустого прилавка на буфете были выставлены в ряд тарелочки с нарезанной селедкой, украшенной цветистыми кусочками моркови и свеклы. Я с утра ничего не ела и вдруг — захотела есть.

Подошедший официант махнул салфеткой вправо и влево по скатерти и поставил передо мной тарелочку.

— А есть чем я буду? — спросила я.

— Документ имеете? — уныло осведомился официант.

— Зачем это?

— Без документа прибор не полагается.

— Это что еще за новость?

— Не новость, а воровство,— сказал официант нравоучительно,— надо сознательность иметь, граждандка.

Я дала ему паспорт, а в обмен он принес мне сильно помятую оловянную ложку. Есть селедку оловянной ложкой было очень противно с непривычки и как-то унижительно. Но я ела и думала о том, какая я несчастная, вконец замотанная женщина. А главное, дома никто не оценит моих героических усилий с миногами и даже не заметит их.

Для чего я стараюсь? Конечно, за столом будут пить мое здоровье; Алеша первый подымет тост за Бубу самоотверженную, и все его шумно подхватят. Миноги будут скользить по пьяным глоткам, как по маслу. Нет, это не стоит затраты сил. Я устала.

Сдав ложку и получив в обмен паспорт, я села наконец в вагон, в самый темный угол, с намерением хорошо и без помехи выплакаться за полчаса езды до Детского Села.

Но за минуту до отхода поезда в вагон ввалилась шумная компания хорошо одетых людей. Это были мои гости, я с ужасом убедилась в этом.

Я отвернулась к окну, стараясь глубже забиться в темный угол. Гости, к счастью, не узнали меня. Конечно, умнее было бы просто подойти к ним, нагрузить их своими авоськами. Но было стыдно и мокрой шубы, и заплаканного лица. А главное, от усталости, от неудач, от унижительной оловянной ложки на вокзале я впала в состояние козерога (так называл это Алеша), а выйти из него было не так-то легко.

В Детском меня встретил и немножко успокоил мягкий снежок. Он падал с неба такой чистый, такой ни в чем не виноватый.

— Как хорошо! — вздохнула я с облегчением, усаживаясь на извозчика. Обогнав своих гостей, я была через пять минут дома.

Алеша выбежал в переднюю:

— Наконец-то! Где ты пропадала, Наташа? У нас дом полон гостей.

Он был свежевыбрит, наряден, благоухал шипром. Снимая с меня шубу, он даже не заметил, что она мокрая.

— А миноги? — тревожно спросил он.

— Вот твои миноги, — ответила я голосом, который самой мне показался трагическим; положила сумки на подзеркальник и прошла к себе в спальню.

— Что такое? — забеспокоился Алеша, идя вслед за мной. — Что случилось, Наташа?

Я молча показала ему разбитое колено.

— Бедняжечка! — воскликнул он. — Упала? — Потом наклонился, разглядывая коленку. — Постой, это надо йодом... — и побежал за ним в ванную.

Но в переднюю в это время ввалился Щеголев, в своих енотах похожий на медведя, за ним второй гость, за вторым — третий. Встречая их и суетясь, Алеша забыл про йод.

Я заперлась в ванной комнате. Здесь было тепло и уютно, в колонке трещали дрова. Я помылась, прижгла колено йодом, переоделась, надушилась, припудрила заплаканное лицо и вышла к гостям.

На кухне в это время, весело потрескивая в масле, жарились свежие миноги, распространяя провокационный дух на весь дом.

— Под один запах напиток можно, — задумчиво приноживаясь, сказал Лавруша, известный актер и забулдыга. Похаживали и другие гости вокруг накрытого стола, косясь на петровские штофы с зельем.

А стол был действительно красив, что и говорить! В богемском хрустале, с белыми цикламенами посредине. И английский сервиз, коричневый с бледно-зеленым (мой любимый), очень хорошо оттенял сероватые округлые массивы студня. В конце стола о чем-то шептались дети, вероятно сговариваясь, как сесть, чтобы не остаться в обиде во время сладкого.

«Шумство» вышло на славу. И студень, и грузди, и кулебяки (без сучка и задоринки), и архиерейская заедка на сковородке, а главное — свежие миноги, жаренные в сухарях, на прованском масле, воодушевили всех и заставили меня примириться со всеми неудачами трудного дня.

— Пируем, Лавруша! — кричал хозяин и поднимал бокал за Бубу героическую.

— За хозяйку! — подхватывали гости.

— За маму! — кричали дети.

Мало-помалу я выходила из состояния козерога.

* *
*

Ублагодворенные гости разъехались к последнему поезду. Дом затих. Пьяненький Алеша был трогательно добр и кроток. Я уложила его в кабинете на диване. Казалось, наступил час блаженного покоя и отдыха. Но это только казалось. Я уже засыпала, когда меня разбудил звонок и голоса в передней. Затем двери распахнулись, и Щеголев, в енотах, запорошенных снегом, ввалился ко мне в спальню и плюхнулся в кресло.

— Вал-л-лентина! — завопил он. — Раздевай!

В ужасе я выскочила из постели и кинулась в кабинет.

— Алеша! — кричала я. — Что это такое? Он сошел с ума... Помогите!

Щеголев не унимался.

— Вал-л-лентина! — вопил он на весь дом. — Папу раздевай.

Он разбудил всех.

Прислуги, бабушки, дети, все полуодетые, стояли полукругом на почтительном расстоянии от него, дивясь и не решаясь подойти.

— Ну, Елисеич, — сказал наконец Алеша, беря его под мышки и тщетно стараясь приподнять, — пошумел и будет. Пойдем спать.

— Вал-л-лентина! — вопил Щеголев, не двигаясь с места.

Выручила всех бонна Юлия Ивановна, самоотверженно решившая стать Валентиной. Ей удалось кое-как поднять и увести Щеголева в пустую комнату, уложить на диван и укрыть шубой.

Дом наконец затих.

Вот что разъяснилось на следующий день.

Щеголев, возвращаясь домой, заснул в поезде. В Ленинграде не вылез и, не сходя с места, в том же вагоне был доставлен последним рейсом обратно в Детское Село. Здесь он вышел из вагона и, мысля себя в Ленинграде, нанял извозчика к себе домой, на улицу Деревенской бедноты.

А детскосельский извозчик понял только одно: раз гражданин во хмелю и в хорошей шубе, значит, он — толстовский гость и везти его надо к Толстым, на Московскую, 10. Что он и сделал.

Под миноги Щеголев с Толстым опохмелялись на второй день. Миноги ели и на третий день, но уже вяло. А на четвертый их доедал Верн, любимый наш пойнтер.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ РОМАН

Летом в 1934 году Толстой с увлечением читал Геродота. Вероятно, это и навело его на мысль о новом историческом романе «Падение Рима». Осенью, в Теселях у Горького, он поделился своими планами с Алексеем Максимовичем и встретил горячую поддержку.

— Роман о падении Рима — это большое дело, — сказал Горький, — это должен быть роман в европейском масштабе, и, пожалуй, вы один из современных писателей в силах его поднять. Одобряю и благословляю.

У меня долго сохранялся продиктованный Горьким список книг и материалов на русском и иностранном языках, необходимых Толстому для работы над новым романом. Предполагалась поездка в Рим на год.

Однако ряд изменений, последовавших в личной и творческой жизни, увели его в сторону от намеченного плана...

НАШ РАЗРЫВ

Больше не будет свидания,
Больше не будет встречи.
Жизни благоухание
Тленьем легло на плечи.

Как же твое объятие,
Сладостное до боли,
Стало моим проклятием,
Стало моей неволей?

Нет. Уходи. Святотатства
Не совершу над любовью.
Пусть монастырское братство,
Пусть одиночество вдовье.

Пусть за глухими воротами
Дни в монотонном уборе.
Что же мне делать с вами,
Недогоревшие зори?

Скройте за облаками,
Больше вы не светите!
Озеро перед глазами,
В нем — затонувший Китеж.

В конце лета 1935 года Толстой вернулся из-за границы <...> Он был мрачен <...> С откровенной жестокостью он говорил:

— У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни.

Я чувствовала это без слов. Сердце его было наглухо закрыто для меня. Я не могла мириться с этим. Я решила уехать. К этому времени был закончен ремонт ленинградской квартиры, которая по обоюдному согласию нанята была для меня с детьми. Я не только не видела желаний задержать мой отъезд, напротив, с каким-то веселым озорством он торопил его. <...>

Я уехала из Детского в августе 1935 года. Помню последний обед. Я спустилась к столу уже в шляпе. Утром уехал грузовик с последними вещами. У подъезда меня ждала машина. Толстой шутил с детьми. Об отъезде моем не было сказано ни слова. На прощанье он спросил:

— Хочешь арбуза?

Я отказалась. Он сунул мне кусок в рот:

— Ешь! Вкусный арбуз!

Я встала и вышла из дома. Навсегда. <...>

Итак, все было кончено. Сметено с пути все, что казалось до сих пор нерушимым <...> Двадцать лет любви и сорок семь лет жизни. <...> Таков свирепый закон любви. Он говорит: если ты стар — ты не прав

и ты побежден. Если ты молод — ты прав и ты побеждаешь.

Зачем же все еще стою, обернувшись назад, окаменев, как жена Лота, в горестном недоумении? Лучшее в любви не выдуманно ли нами? А о том, что выдуманно, стоит ли скорбеть неутешно? Стоять у развалин прошлого в то время, как жизнь неумолимо движется вперед? Нет. Пора и мне в новый путь. <...>

Люби другую, с ней дели
Труды высокие и чувства,
Ее тщеславье утоли
Великолепием искусства.

Пускай избранница несет
Почетный груз твоих забот:
И суеты столпотворенье,
И праздников водоворот,
И отдых твой, и вдохновенье,—
Пусть все своим она зовет.

Но если ночью иль во сне
Взалкает память обо мне
Предосудительно и больно,
И, сиротеющим плечом
Ища плечо мое, невольно
Ты вздрогнешь,— милый, мне довольно,
Я не жалею ни о чем!

Февраль 1940 г. Заречье, озеро Селигер

Через пять лет, перечитав написанное выше, не чувствую прежней горечи, диктовавшей эти строки. Анестезия времени многое приглушила.

Случившееся с нами пять лет тому назад было неизбежно, и сетовать на это так же неумно, как грозить небу кулаком за то, что в нем совершаются кос-

мические процессы и в определенное время восходит и заходит солнце.

Что же осталось от прошлого?

Немного стихов, дневник, разорванный в горькую минуту, да шкатулка с письмами, раскрыть которую так же страшно, как разрыть могилу. Мир вам и покой, дорогие останки! Пусть внуки потревожат вас бестрепетной рукой, — моя еще дрожит от прикосновения к вам.

Сохранился еще пустой флакончик из-под французских духов Moulineux, когда-то любимых. В минуты слабости (все реже и реже) я открываю его и вдыхаю знакомый женственный запах, обольстительный и тревожный. Так пахнет далекая жизнь. Так пахнет — прошлое.

Родится новый Геродот
И наши дни увековечит.
Вергилий новый воспоет
Года пророчеств и увечий.

Но будет ли помянут он,
Тот день, когда пылали розы
И воздух был изнеможен
В приморской деревушке Козы,

Где волн певучая гроза
Органом свадебным гудела,
Когда впервые я в глаза
Тебе, любовь моя, глядела?

Нет! Этот знойный день в Крыму
Для вечности так мало значит.
Его забудут, но ему
Бессмертье суждено иначе.

Оно в стихах. Быть может, тут,
На недописанной странице,
Где рифм воздушные границы
Не прах, а пламень берегут!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вс. Рождественский. Память сердца</i>	3
--	----------

Часть первая. ДЕТСТВО

Детство	5
Гранатный переулоч	17
Конец Георга Венделя	35
Лодейное Поле	44
Мисс Фэлькерс	64

Часть вторая. ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ

Первые встречи	69
Первое знакомство	73
Круги сужаются	77
Дыня	114

Часть третья. ДНИ И ГОДЫ

(Материалы для биографии А. Н. Толстого)

1915 год	116
1916 год	119
1917 год	128
1918 год	134

Часть четвертая. СТРАНСТВИЯ

«Карковадо»	141
Перышки	161
Три встречи	166
Лето в Камбе	179
Сергей Есенин и Айседора Дункан	194

Часть пятая. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСЕЕ ТОЛСТОМ

О судьбе «Сестер»	204
О «Древнем пути»	206
О красном словце	209
Миноги	211
Неосуществленный роман	219
Наш разрыв	219

Жрандиевская-Толстая Н. В.

К77 Воспоминания. Л., Лениздат, 1977.

224 с.; портр.

Воспоминания Наталии Васильевны Жрандиевской-Толстой (1888—1963), искренние, сердечные, пристрастные, как всякие произведения этого жанра, дороги нам тем, что они оживляют для современного читателя страницы из прошлого русской культуры. Живые черты характеров и ушедшего быта, порой неожиданные, но всегда пропущенные сквозь призму своей собственной поэтической индивидуальности, впечатления от встреч с крупнейшими писателями — А. М. Горьким, И. А. Буниным, А. И. Kupриным, С. А. Есениным и другими — все это необходимо для исследований и увлекательно для чтения.

Особую ценность составляют главы, проливающие дополнительный свет на личность и творчество Алексея Николаевича Толстого.

(Рукопись «Воспоминаний» подготовили для публикации сыновья Н. В. Жрандиевской-Толстой — Ф. Ф. Волькенштейн, Н. А. и Д. А. Толстые.)

К $\frac{70302-044}{M171(03)-77}$ 117-77

*Наталия Васильевна
Жрандиевская-Толстая
Воспоминания*

Редактор Н. А. Чечулина

Художник А. И. Векслер. Художественный редактор И. Э. Семенов. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор В. Д. Чаленко

И Б № 580

Сдано в набор 17/XII 1976 г. Подписано к печати 21/VII 1977 г. М-23588. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 9,80+вкл. Уч.-изд. л. 9,07+0,03=9,10. Тираж 65 000 экз. Заказ № 901. Цена 1 р.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57